

Н. УЛЬЯНОВ

**ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ**

Нью-Хэвен

1970

Н. УЛЬЯНОВ

**ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ**

Нью - Хэвен

1970

Все права сохраняются за автором.

All rights reserved

Издательство «Киннипиак»

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

Томят безмолвные пугающие дали,
Ужасна глубина сокрытая в вещах;
Кошмары Божий перст рисует мне впотьмах,
Как знаки тайные на некоей скрижали.

Ш. Бодлер.

СОЛНЦЕ

Он очнулся в комнате без окон, с голыми стенами, и ничего еще не соображая, вздрогнул. На него внимательно смотрело семь незнакомых людей.

— Как вы себя чувствуете?

Спрашивал полный, с лицом напоминающим чей-то знаменитый портрет.

— Где я, и что со мной?

Полный человек сделал движение, означавшее что-то вроде желания успокоить, но бледное лицо его с зелеными глазами вселяло величайшую тревогу.

— Я, кажется, был без сознания?

— Спали или были без сознания — не всё ли равно? Важно, что за это время в вашей судьбе произошло значительное событие. И смею вас уверить, к лучшему.

— Какое событие? Со мной случилось что-нибудь? Я в госпитале?

— Нет вы не в госпитале.

— Но где же? В полиции?

— И не в полиции.

— Тогда я ничего не понимаю.

— Вам это и трудно понять сразу. Лучше будет, если успокоитесь и предоставите всё времени. Не болит ли у вас голова?

Голова болела, но молодой человек, удивленный странностью происшествия, не обращал на нее внимания.

— Кто же вы, однако?

— Мы ваши поклонники.

Пройдясь взглядом по лицам сидевших, он приподнялся в кресле.

— Мне пора домой. Прощу меня выпустить отсюда.

— Вы еще успеете это сделать. Мы хотели бы с вами серьезно поговорить.

— Но кто вы? Я вас не знаю.

— Совершенно напрасно придавать такое значение вопросу: «кто мы?». Узнаете или не узнаете, от этого ничто не изменится.

— Как это понять?

— Очень просто. Вы должны с нами поговорить.

— Вот как! А если у меня нет желания?

— Тогда вам придется посидеть здесь, пока такое желание у вас появится.

Молодой человек снова вздрогнул и забился в угол кресла.

— Понимаю! Вы усыпили меня и привезли сюда, приняв за богатого. Но вы ошиблись — на мне ничего не заработаете. Мне уже четвертый месяц нечем платить за квартиру, а родственников у меня нет ни богатых, ни бедных.

— Успокойтесь, нам денег не надо. Мы их сами готовы вам предложить. Что за квартиру не платите, что у вас нет приличного костюма, чтобы посещать ученые заседания, — это нам известно. Известно, что вы оказались неблагодарным эмигрантом; вас приютили из милости, а вы вздумали всерьез заниматься наукой и обнаруживать талант больше того, какой полагается иностранцу. Знаем, что доступа в лабораторию вы лишены и вынуждены производить опыты у себя на кухне, пользуясь чайной посудой . . .

Молодой человек слушал с изумлением.

— Проблема над которой работаете и которую скрываете, как величайшую тайну . . .

— Откуда вы это знаете?

— Ну, это не так уж трудно. Не мы одни. Военные разведки всех стран знают вас и следят за каждым вашим шагом. Вы уже мировая знаменитость, хотя соседи по квартире презирают вас, как самого пустого человека.

Зеленые глаза с удовольствием следили за эффектом этих слов, — за судорожным подергиванием пальцев, за каплями пота на лбу.

— Чего же вы от меня хотите?

— Мы хотим помочь вам работать над вашим открытием.

— Но разве для этого надо было усыплять меня и затаскивать в этот подвал?

— Да надо. И вы сейчас убедитесь в этом.

Все семеро встали, как по команде, жестом пригласили в соседнюю комнату, а оттуда в ярко освещенное

помещение, заставленное аппаратами, шкафами со стеклянными и металлическими приборами.

— Не угодно ли обойти и посмотреть?.. Вот хоть бы это...

Его подвели к будке, сделанной из непонятного материала, отливавшего зеленоватым и красным цветом. Внутренность ее походила на готовальню или на несессер, переполненный загадочными инструментами, оплетенный паутиной тонких проводов. Присмотревшись, он побледнел.

— Но ведь это в точности соответствует моему проекту!

— Вы думаете?.. А что вы скажете про это?

То был клавесин, наполненный лампочками разных цветов и конструкций.

— И это мой!

Винты, маленькие механизмы, шипевшие по-змеиному, когда он нажимал клавиши — всё было знакомо. От клавесина к другому, стоявшему по соседству прибору. Там опять крик удивления, и опять лихорадочный осмотр.

Незнакомцы следили с усмешкой. Только когда осмотрев половину стоявших в комнате сооружений, он зашатался от слабости, к нему подбежали и усадили на стул.

— Это ужасно! Ужасно! И совсем непостижимо!..

Увидев насмешливые лица, он вскочил.

— Позвольте заметить, что у меня есть доказательство! Я могу представить чертежи!..

— Вот видите, — какую бы ошибку вы сделали, уйдя и не посмотрев нашей лаборатории. То ли еще увидите!.. А что до ваших проектов, то почему вы думаете, будто эти аппараты сделаны непременно по ним? Вот русские нынче доказывают, что паровую машину изобрел какой-то барнаулец, а какое до этого дело Уатту?

— Ложь! Я не допускаю абсолютного совпадения. Всё, до мельчайших деталей... И ведь приборы эти ни для чего другого, кроме проверки одной специальной гипотезы, не годятся. Не может быть, чтобы она родилась в двух головах сразу и развивалась с полным сходством!..

— И всё-таки, разве это невозможно?

Издевательская нота уколола юношу в самое сердце. Он поник и закрыл лицо ладонями.

— Вспомните, хэ-хэ!.. как многих гениальных изобретателей опережал какой-нибудь немец.

Ему участливо положили руку на плечо, но плечо так страшно задрожало, а из-под ладоней вырвался такой звериный вой, что насмешник отпрянул: — Воды! Воды!

Пока истерично бившегося человека отпаивали и приводили в себя, один из незнакомцев подошел с толстым портфелем.

— Успокойтесь. Мы, кажется, чересчур жестоко пошутили. Мы не ожидали такой... реакции. Никто вашей идеи не украл и никакого соперника у вас нет. Всё, что вы видите, изготовлено по вашим собственным чертежам. Откройте портфель и убедитесь. Там фотогра-

фии и подлинники всех ваших проектов. Только, ради Бога не спрашивайте, как они к нам попали. Гораздо важнее, что приборы, на постройку которых у вас не было средств, вы видите здесь готовыми. Располагайте ими. У вас будет столько помощников, сколько требуется; вам ни в чем не будет отказано, самая жизнь ваша изменится с этого дня так, как вы и не думали... Выпейте еще воды.

— Да кто же вы, наконец? — простонал молодой человек.

Вместо ответа, его схватили под руки и сорвав с места, почти поволокли в другую комнату. Там висели картины. Среди них несколько Ван Гогов и Фламэнков.

— Видите, как хорошо мы знаем ваш вкус! Всё, что можно найти значительного на рынке, мы скупили. Коллекция и впредь будет пополняться.

Потом втащили в библиотеку, сверкавшую бронзой шкафов, золотом книжных корешков, белизной гипсовых бюстов.

— Ни за что бы не вышел отсюда! — протянул человек с полным лицом тоном торговца, расхваливающего свой товар.

Размеры комнаты, в самом деле, хорошо были рассчитаны, мягкий отраженный свет так ласково заливал ее, что трудно было побороть соблазн и не усесться в кресло перед столом.

— А вот здесь можно забыть весь мир!

Его ввели в уютный кабинет — профессорский парадиз, обставленный с изумительным знанием гелертерских вкусов и эстетики.

Но вот открылась спальня.

— Вы не находите, что Людовики жили беднее вас?

Дремотно, как на океанском судне, покачивались салоны, ковры, кушетки, аквариум с золотыми рыбками, клетка с птицами, медвежьи и тигровые шкуры, люстры. Только, когда вошли в небольшой зал, пленник встrepенулся, оттолкнул державших его под руки и бросился к окну.

— Юг! Юг! . . . Как я очутился на юге? Значит я не в Париже?

За окном стоял яркий день, цвели олеандры, глицинии, темнели кипарисы, сверкал кусочек моря. А ему казалось, что ботинки его еще не просохли от февральской снежной каши, по которой он шлепал на площади Пигаль.

— Где же я? Где? Говорите скорей!

Он схватил полного человека за нейлоновую грудь, и метил вцепиться в горло. Их бросились разнимать. Отбивался кулаками, локтями, визжал и кусался, пока, завернутого в какую-то портьеру, его не унесли в отделенный покой, где он понемногу затих и заснул.

**
*

Пробудился всё в той же комнате без окон. Голова не болела, в теле чувствовалась упругость и бодрость. Но он осунулся и потускнел, как только увидел знакомые штукатурные стены и колющую электрическую лампочку. Еще тоскливее стало, когда подоидя к двери

и нажав никелированную ручку, услышал эхо, какое бывает в пустых домах. Точно из глубины пещеры оно поведало, что с ним здесь могут сделать всё, что захотят.

Сам не заметил, как начал ходить кругами по комнате, вступив на древний путь проложенный в клетках зоологических садов и тюрем.

— Я должен всё выяснить!

Стук в дверь казался наиболее верным средством вызвать чьё-нибудь появление. Стучал сначала вежливо, обдумывая фразу, которой встретит своего похитителя. Потом усилил стук, доведя его до грома. Бил кулаками, ногами, обрушивался всем телом, и когда перестал понимать что делал, — в двери неожиданно открылась форточка. Чьё-то лицо вопросительно уставилось оттуда.

— Я... я... Скажите, как я сюда попал?

— Вам это должно быть ясно.

— Совсем не ясно!.. Совсем не ясно!.. Меня похитили?

— Может быть.

— Но это насилие!

— Конечно насилие.

— И какое вы имели право?..

Лицо опять посмотрело с любопытством.

— Я требую, чтобы меня отпустили домой.

— У вас нет дома. Квартира ваша сдана, а ваш изуродованный труп найден в туннеле метро и похоронен.

Когда форточка захлопнулась, он опять устремился в бешеное турне, стараясь собрать рассыпавшиеся по штукатурным углам мысли.

В неизвестный час принесли обед два молчаливых высоких человека. Он произнес перед ними речь о гнусности их злодеяния, о веке свободы и цивилизации, о законах, защищающих личность. Он грозил судом, и закончил отказом принимать пищу.

Это вышло неожиданно. Он и сам не знал почему объявил голодовку. Но слово это сделало его гордым.

**
*

Голодать вначале было легко. Из-за пережитых волнений аппетит пропал. Но на четвертые сутки тело стало скорбеть о пище, голова отяжелела, напал долгий сон с бредом, со слезами, с жалостью к самому себе.

Приснился тропический лес. Над самым лицом качалась лиана. Он ловил ее зубами и, поймав, откусил кусок. Рот наполнился жидкостью непередаваемого вкуса. Откусил еще, и опять тепло и радость по всему телу. Так — кусок за куском, пока не содрогнулся от непонятного беспокойства и не открыл глаза. Над ним стояли два высоких прислужника и кормили с ложки вкусным сабайоном.

Он горько заплакал, но пищи больше не отвергал.

**
*

— Вот и хорошо! Вот и хорошо! Я рад, что вы отказались от необдуманной борьбы с нами. Зачем вам шуметь и буйствовать? Вы не должны думать, что вас отпустят по первому стуку в дверь. Ведь мы годами готовились к тому, чтобы . . . переселить вас сюда. Какие безумные деньги на это потрачены! Но вы и не должны никуда стремиться. Ваше место здесь. Мы ведь спасли вас от верной гибели. Вас бы похитила чья-нибудь разведка или убила. Это вернее всего. Работая над открытием, способным изменить судьбу мира, вы не могли не стать чьей-нибудь жертвой. Мы сумели опередить других, и вы поймете когда-нибудь, что это было для вас счастьем.

Говорил всё тот же, полный, с бледным, как сметана, лицом. Молодой человек давно догадался, кому мог принадлежать этот слегка отвислый подбородок, маленькие, спущенные с висков бачки и выражение «всего хочу, всё могу» на круглом лице.

— Нерон!

Он произнес это вслух.

— А, вот вы что! Ну, конечно. Меня все узнают с первого взгляда. Да, дорогой метр, вы находитесь при дворе Нерона. Но не бойтесь, у нас не бросают людей на съедение львам и не устраивают гладиаторских боев. Я Нерон не страшный, всегда готовый к вашим услугам.

**
*

Когда он поправился, его привели в гостиную, где было много народа.

— Наш высокочтимый метр! — провозгласил Нерон.

Он представил присутствующих одного за другим: Сульпиций, Валерий, Луций, Папирий, Септимий, Юний. Женщины были: Кальфурния, Моника, Сабина, Лукреция, Агриппина.

Особо представил двух пожилых людей — «ваших коллег», одного с грязной сединой, другого — совершенно лысого. Они выразили сожаление, что работы свои ему придется производить «конспиративно».

— Но потерпите. Всем нам приходится приносить жертвы. Мы тоже прошли через это. Конечно, ценность наших открытий не идет в сравнение с теми, которых ждут от вас, но и мы были в продолжение года скрыты от внешнего мира. Видно, так надо.

Они много говорили на темы, близкие к его занятиям. Нерон назвал их солидными учеными, работающими в одной из тайных лабораторий, но юноше было ясно, что это — простые агенты, приставленные для наблюдения за ним.

После ученых-тюремщиков представлена была красивая девушка — его секретарша. Он сразу понял ее роль.

— Эвника, — назвал ее Нерон. — Не находите ли, что вам самому, после этого, никакого другого имени не полагается, кроме Петрония?

— У меня есть свое собственное имя.

— Это понятно. Но оно . . . как бы вам сказать . . . незвучно эпохе. Да и лучше будет, если только вы один будете его знать. Для всех других, вы — Петроний.

— Какая гадость! — прошептал юноша.

* *
*

Так началась его жизнь в таинственном доме. Появились проворные слуги, дорогое белье, одежда, вина, о которых раньше он мечтать не смел, круглый стол, заваленный газетами и журналами на всех языках, радио, телевидение, библиотека со специальным подбором книг. В зале вешали экран и показывали интересные фильмы со слонами, жирафами, с нападениями львов и леопардов. Публики набиралось полно. К нему подходили перед началом сеанса и изысканно вежливо просили позволения присутствовать на представлении. Постоянно раздавались веселые возгласы, кто-нибудь играл на рояле. Но его раздражала эта нарочито безоблачная жизнь. Неприятен был также свет, горевший в лаборатории. Там трудились люди в белых халатах, звеня инструментами, шумя машинами. Они тщились изобрести что-то без его участия. Игру их он скоро разгадал: у него хотели разжечь желание работать тем путем условного раздражения, каким у подопытной собаки вызывали выделение слюны.

От всего веяло злым умыслом.

Он усматривал его даже в том, что солнце дальше подоконника в комнаты не заглядывало. Ему говорили, что здешнее солнце опасно, и нельзя испытывать его действие на сетчатке глаз или на коже. Советовали довольствоваться тем обилием света, что проникал из сада. Сад раскинулся роскошной декорацией: посередине пожаром горела плантация тропических цветов, за кущами магнолий синела дымка персидской сирени, свешивались белые колокола агати.

— Неужели мне нельзя будет туда выходить?

— Через некоторое время можно будет, но не сейчас. Вы должны с этим примириться. Впрочем, свежего воздуха у вас будет достаточно, а любоваться садом можете из окон.

Окна были широкие с чистыми прозрачными стеклами. Но каждый раз, когда пленник открывал раму, чтобы выглянуть в сад, окно автоматически задвигалось прочной, с затейливыми узорами, решеткой. Она так же легко и неслышно уходила в простенок, как только окно закрывалось.

— Сколько же я здесь пробуду?

— Это в ваших руках. Пока не закончите работы... Но выйдете вы отсюда мировой знаменитостью. Слава у вас не будет отнята.

**
*

Раз подошел к нему Нерон.

— Дорогой метр, я чувствую, что нам надо объясниться начистоту. Быть может это снимет с вас груз

сомнений. Вы, конечно, по-прежнему терзаетесь: кто мы такие? Как бы мне хотелось убедить вас в ненужности этого вопроса! Вот я с вами разговариваю по-французски, что вам мешает считать меня французом?

— Но я слышал, как вы и ваши коллеги разговаривали по-английски и по-немецки.

— Мы знаем также по-русски, и, если хотите, введем в обиход ваш родной язык.

— По-русски?!.. Я так и думал!.. Значит я в руках ГПУ?

— Ну вот! Я всегда считал вас исключительно прозорливым! Насчет названия вы немного ошиблись; ГПУ давно не существует... Но это мелочь. Допустим, что мы действительно сотрудники советской полиции. Что тогда? Почему это страшнее, чем быть в руках Интеллидженс Сервис или Эф-Би-Ай?

— Да, но вы... большевики.

— Ай, как страшно! Дорогой метр, мы ведь знаем, что вы не в состоянии объяснить разницу между большевиками и радикалами или между большевиками и лейбористами. Политика — не ваше дело. Что вам до того, что мы большевики?

— Но я не хочу, чтобы мое открытие попало в любые руки.

— О, вот это высокое слово! Кому же вы хотели бы вручить его?

— Я еще над этим не думал, но...

— Какое же вы имели право не думать? Начать работать над изобретением, упраздняющим атомную бом-

бу, дающим власть над миром, и не подумать, кому ее доверить!

— Я, в конце концов, не обязан . . . С меня хватит, если удачно выполню . . .

— Совершенно верно. От вас и не ждут ничего другого. Но тогда не всё ли вам равно в чьи руки попадет ваше открытие?

— И всё же, мне не хотелось бы . . .

— Дорогой метр, вы сами не знаете своего величия. В тот день, когда ваша идея будет воплощена, возникнет, впервые за всю историю, абсолютная власть на земле. Вы упраздните рабство, потому что упраздните свободу. Кто бы мы ни были сейчас — после вашего открытия мы перестанем быть большевиками, французами, американцами, мы станем владыками мира.

— Но это может сделать и простая шайка преступников!

— Bravo! Мы начинаем понимать друг друга. Отчего бы не быть и шайке преступников? Если все королевские роды в Европе произошли от норманских разбойников, то стоит ли обижать неласковыми словами нынешних гангстеров, которым пришлось бы положить начало династии мировых властителей?

* *
*

Нерон исчерпал все доводы в доказательство бессмысленности его тоски. Но тоска не проходила. Только сад, на который он временами смотрел из окна, рас-

сеивал его немного. В глубине, за темными кипарисами, проползал иногда белый игрушечный пароход, напоминающая о воле, о просторе, о возможности идти куда хочешь.

— На острове я или на материке?

Однажды он осмелился спросить, как называется то море, что зеленеет в промежутке между кипарисами?

— Адриатическое, Эгейское, либо Черное, а может быть Караибское.

По ночам, когда загорались звезды, он жалел, что ничего не смыслил в астрономии и не мог определить по ним свое местонахождение.

**
*

— Вам никогда не приходило в голову, что вы ошиблись? — спросил он однажды Нерона.

— Как так?

— Вы ухлопали на меня миллионы, а я сижусь и ничего не делаю.

— Это придет . . . придет . . .

— А если не придет, что тогда? . . . Убьете?

— Что за мысли! Зачем нам это? Мы вернем вас в ваше прежнее ничтожество. Только тогда оцените рай, который мы вам здесь уготовали. Эту лабораторию, что не достаиваете взглядом, будете вспоминать, как упущенное счастье!

Нерон отошел, довольный смущением и бледностью молодого человека.



По радио объявили, что в цюрихском университете производятся опыты искусственного возбуждения той группы клеток головного мозга, на которую он первый обратил внимание.

— Не хотите ли взглянуть на редкий эстамп только что поступивший в вашу коллекцию? — подошел к нему один из сотрудников.

Ответа не последовало. Петроний сидел, как насквозь простреленный, не успевший еще упасть. От обеда он отказался. Вместо столовой отправился в кабинет и просидел над чертежами весь остаток дня и всю ночь. К утру его увидели в лаборатории склоненным над одним из аппаратов.

С этого дня, механизмы перестали крутиться впустую. Началась работа над величайшим изобретением, когда-либо задуманным в мире.



Он сразу понял разницу между специально оборудованной лабораторией и нетопленной квартирой нищего изобретателя на рю Эскудье.

Для производства опытов приводили угрюмых, точно приговоренных к казни людей. Он надевал им на головы скафандры, запирали в камеры, сделанные по его чертежам, проверял действие им же самим открытых

токов на те части мозга, о которых еще в Париже неосторожно проговорился:

— Кто подберет к ним ключ, тот будет повелевать миром.

Месяца два прошло в упоительном труде. Мысли шли густо, как рыба в камчатских реках. Он сам поражался количеству сделанного: новые лучи, усовершенствованные приборы, прояснение отдельных частей будущей машины, что призвана подчинить себе все прочие машины земного шара.

Что когда-то предчувствовалось, мелькало неясными намеками, — рождалось, теперь, в цифрах и уравнениях. Не верилось, что привязавшаяся вздорная мысль, почти мечта, начинает воплощаться и становиться реальностью. Теперь ясно, что он ничего не выдумал; всё это существовало от века, никем не замеченное.

Видя с какой жадностью и поспешностью фотографировались его чертежи, рисунки, вычисления, пометки, каждое слово занесенное на бумагу, он не испытывал ни подозрительности, ни ревности, он не решался приписывать столь громадное открытие простому серому веществу своего головного мозга.

Только один раз ему захотелось победных кликов, похвал, обожания. Это было после семи часов непрерывной лихорадочной работы, когда лист за листом покрывался вычислениями и формулами. Положив перо, он ясно ощутил, что еще три-четыре таких победы за письменным столом, и в мире произойдет непостижимое, о чем сейчас догадаться никто не в силах.

«Знаешь ли, что мною совершено?» — спрашивало его лицо, обращенное к единственному свидетелю торжества.

«Знаю», — отвечали печальные глаза.



Не подлежало сомнению, что Эвника не простой «стимул к творчеству», как с улыбочкой говорил Нерон, а приставлена к его душе, — доверенный агент, самая сильная фигура в игре Нерона. Но она была единственным человеком не внушавшим страха. Вдыхая запах цветка, Петроний не хотел думать об отраве. Тревога его началась с того дня, когда в ласках девушки он почувствовал большее, чем исполнение обязанностей любовницы важного пленника. Потом появились эти печаль и бледность.

— Вам меня жалко? — спросил он однажды, когда они сидели в зале.

Не успел он это сказать, как из сада потянуло сквозь узорные решетки окон застоявшимся воздухом, точно из подвала. Это было не впервые, продолжалось всегда одну-две минуты, но работа после этого долго не шла ему на ум. Сотрудники в таких случаях уверяли, что ничего не слышат и не чувствуют. На этот раз он решился спросить Эвнику.

— Я теряюсь в догадках. Меня берет тоска и страх. Я хочу знать...

Заглянув в глаза он понял, что ей всё известно, и что в тайне его похищения есть иная тайна.

Еще тягостней было другое событие: среди бела дня наступила непроглядная тьма.

— Что случилось?

— Ничего, — ответили ему спокойно, — а что вы хотите сказать?

— Как что? Почему вдруг темно стало?

— Я вас не понимаю, — ответил тот же голос, — никакой темноты.

— Так значит я ослеп! Я ничего не вижу!

Он протер глаза, вскочил, хотел бежать, но его взяли с обеих сторон под руки.

— Успокойтесь, вы немного переутомлены, всё сейчас пройдёт.

Действительно, через несколько мгновений он увидел комнату такой, как она была. За окном сияло солнце, сотрудники занимались прежним делом.

— Что же это такое?

Пришел доктор, и выслав всех вон, попросил разрешения осмотреть его.

— Ничего серьезного, — сказал он, — вам надо отдохнуть.

Ему предложили чаще бывать в картинной галерее, смотреть своих любимых Ван Гогов и Фламэнков, показывали новые фильмы, устроили концерт, в котором выступали превосходные скрипач и пианист.

Но он не чувствовал нездоровья или переутомления, — одно возрастающее беспокойство.

Эвника сохла, сделалась молчаливой. На нее стали пристально посматривать. Жестоко было выпытывать у нее тайну. Но Петроний не устоял. Вечером, после

музыки, стоя в неосвещенном зале и видя, как за окном между кипарисами проплыли огни парохода, он схватил девушку за руку.

— Кто бы ты ни была, скажи — где я и что меня ожидает?

Эвника опустила на софу и спрятала лицо в подушки.

Через несколько дней, в такой же лунный вечер, он с еще большей мольбой повторил вопрос. Это походило на убийство. Она опять ничего не сказала, но видно было, как побледнела. Молча извлекла откуда-то гибкую стальную трость, наподобие автомобильной антенны, и превратила в лук, привязав к обоим концам шнурок от шторы. В кабинете, отломила от этажерки прямую, как стрела палочку. Знаком пригласила Петрония к окну, и просунув в отверстие решетки конец стрелы, спустила тетиву. Лакированная палочка, блестящая под луной, описала высокую дугу. Видно было, как нырнув в пространство между кипарисами, где фольгой переливалось море, она ударилась в его полоску и отскочила как от твердой поверхности.

Эвника стремительно отступила в темноту, увлекши за собой друга. Оттуда они увидели, как из-за куста олеандров появилась голова наблюдателя. Другая выглянула из листвы магнолии.

Утром он не нашел Эвники. Секретаршей назначили другую девушку. Она стремилась во всем заменить свою предшественницу, но Петроний не проявил к этому никакой склонности. Он стал плохо есть, просыпался по ночам, лежал с открытыми глазами. Работу свою забросил.

— Где она? — спросил он Нерона.

— Она . . . вернется . . . Ей надо отдохнуть и поправиться. У нее сильно расстроились нервы.

Но юношу иглой пронизывала мысль о более страшной участи. Втихомолку он плакал и жестоко упрекал себя. Разгадать тайну дома стало отныне долгом ее памяти. Им овладело желание — хоть раз выйти из пышной тюрьмы и пройтись по саду. Припомнилось, что никогда еще не было случая рассмотреть его как следует. В кабинете, в библиотеке, в картинной галерее, в любой части дома, где окна не выходили в сад, его покой строго охранялся. Даже в зале и в диванной, когда он сидел в глубине и смотрел на сад издали, ему не мешали. Но стоило приблизиться к окну, как либо Эвника подходила с ласками, либо входил слуга, либо звонил телефон, и от него требовали разъяснений по заготовке материалов для лаборатории.

Новую свою секретаршу и лакеев он заставил без конца открывать и закрывать окна, а сам со стороны внимательно следил за движением решетки. После длительных наблюдений стало ясно, что механизм, выдвигавший и задвигавший ее, находится под подоконни-

ком с правой стороны. Подходя к окну, он каждый раз как бы случайным движением ноги ударял по этому месту и убеждался, что стена тут пустая.

Несколько дней обдумывал план, подбирал инструменты. Выбрав удачную ночь, ползком пробрался через зал и стал буравить и взламывать стену под подоконником. Дело было непривычное, требовало бесшумности. Не раз останавливался, затаив дыхание. Проработав целую ночь, он открыл углубление в стене, где помещался механизм. Обломки и мусор, собранные в пакет, были спрятаны под матрасом, выломанное отверстие заклеено припасенным куском обоев, и к этому месту приставлен пузатый пуф.✕

На другой день, убедившись, что за ним не подсматривают, он открыл заклееное отверстие, и увидел весь механизм совершенно отчетливо. Среди сцеплений и шарниров, приводивших в движение решетку, не трудно было обнаружить винт, который требовалось удалить, чтобы парализовать машину. Он это сразу сделал и тут же открыл окно.

Колени у него задрожали. В первый раз после долгих месяцев заточения, сад, море, небо, весь огромный мир — придвинулись вплотную.

Мелькнуло боязливое намерение закрыть окно снова, чтобы никто не успел заметить преступления, но вместо этого, небывало легким прыжком, Петроний перемахнул через подоконник и свалился в буйную заросль цветов и ползучих растений.

Молния прозрения озарила его мозг, как у пробудившегося в гробу от летаргического сна.

Цветы зашуршали наподобие бумаги и стружек. Еще не коснувшись в своем падении земли, Петроний уже знал, что они в самом деле бумажные, с проволокой вместо стеблей. И росли на голом камне.

Вот что было известно Эвнике! . . .

Вскочив, и не глядя по сторонам, побежал, что было силы, в самую глубь сада, куда была пущена ее стрела, где вздымались кипарисы, виднелось море. По бутфорским клумбам, по зарослям коленкорových лилий, опрокидывая клеенчатые пальмы и магнолии. Топот его отдавался эхом, как в большом гараже. Послышался такой же топот многих ног, взволнованные голоса.

И вот то место . . . Он добежал до него, как раз, когда на море закружились чайки и выплыл белый пароход. Петроний дотронулся до них рукой. То были движущиеся световые пятна на гладкой, как стекло, поверхности.

Он больше не чувствовал себя, и если не упал, то только потому, что ужас поддельного неба зародил желание во что бы то ни стало увидеть небо истинное.

Повернув из последних сил онемевшее тело в ту сторону, где стоял его дом, он вскрикнул. Дом, без крыши, с единственным открытым окном, сиротливо ютился в пасте огромной пещеры. Под каменным небом висели мостики, лестницы, площадки со множеством аппаратов. Среди них — искусственное солнце, бившее в глаза и заливавшее подземелье ярким светом.

Петроний зубами и ногтями вцепился в первого побежавшего к нему человека и лишился чувств.



— Ну зачем, зачем вы это сделали?! . .

Нерон, как в день того первого пробуждения, сидел в центре полукруга внимательных, бесстрастных лиц.

— Ведь вот, вы натворили нам столько хлопот. Где мы вас будем теперь содержать? И неужели вам плохо было там? Королевская роскошь, уют, комфорт, и лаборатория . . . Теперь всё придется заново строить. И работалось вам там хорошо, не правда ли?

Он пристально посмотрел на лежавшего.

— А теперь придется жить в этой тюрьме . . . Мы не можем вас содержать иначе, как в строгом ограждении от всего мира, вы это хорошо понимаете. Конечно, постараемся и здесь скрасить вашу жизнь, отстроим и мебелируем несколько камер, но таких удобств, как там, не будет.

Он говорил много, с укоризной, но заметив, что больной не слушает, поднялся и ушел со своим штабом.

Петроний долго лежал в бреду. Когда наступило улучшение, его посадили в кресло возле окна, забранного массивной тюремной решеткой. Перед окном вздымалась стена, а за нею грузное здание тоже с решетками на окнах. Там изредка мелькали фигуры в полосатых куртках. Два раза в день они спускались вниз, и через стену можно было видеть их плечи и головы, когда они совершали по двору свои унылые круги. Дoleтали неразборчивые слова команды.

— Ну вот, у вас теперь и желания работать не будет, — сказал ему однажды Сульпиций, человек лет сорока, с мягким располагающим лицом.

— Напротив, друг мой, вид небольшого кусочка настоящего неба поднимает мой дух больше, чем пышная ложь, которой вы окружили меня в подземельи. Я знаю, что эта громада, стоящая перед окном — тюрьма, но ее трубы и крыши освещены настоящим солнцем, и от этого я полюбил ее с первого взгляда. Если мне суждено выйти на волю, я буду каждый день поступать, как те мужи израильские, которые стояли спинами ко храму Господню, а лицом своим на восток и кланялись солнцу. Как они, я буду кадить ему и подносить к носу свежие древесные ветви и обонять их.

— Но у вас, дорогой метр, — такая же вина перед божеством, как у древних иудеев: вы — отступник. Вы радовались поддельному свету как настоящему. Не будь простой случайности, вы бы до сих пор боготворили спектральный прожектор не подозревая, что поклоняетесь лже-солнцу. Откровенно говоря, я в этом греха не вижу. Откуда нам знать, что «настоящее» солнце — не такой же фонарь в пещере или не спичка вроде той, что я сейчас зажигаю? Она горит минуту, но на ладони моей руки — это миллионы лет. Зарождается жизнь, возникают войны, расцветают и гибнут цивилизации... Не спичке ли мы поклоняемся?

— Я не хочу вас слушать, — проговорил Петроний, — солнце существует и никакой другой свет не заменит его. Самый бледный, самый косой луч его дороже яркого сценического освещения. Вот и сейчас я поправляю-

юсь не от лекарств вашего доктора, а от залитых желтым светом стен тюрьмы, от белых, как пух, облаков, от сверкающего в небе алюминиевого аэроплана. Ах, если бы вы знали, как страшно убеждаться в поддельности солнца! . .



Прошло немало времени, прежде чем он начал ходить и знакомиться с новой лабораторией. Набравшись смелости спросил, в какой стране он находится.

— Пощадите, и не задавайте таких вопросов, — проговорил Сульпиций с грустью. — Лучше приступайте скорей к вашей работе. Вы видите, что «ему» стоит большого труда вежливо разговаривать с вами.

Нерон действительно ходил чернее тучи. И, казалось, больно переживал своё поражение. Невозможность заставить «мальчишку» совершать научные открытия приводила его в ярость. Увидев как-то Петрония, разглядывавшего в никелированной крышке прибора свое отражение с сединой висков, с провалами глаз, он на ходу бросил ему:

— Стряхните ваше мрачное настроение, забудьте, что вы пленник, и завершайте скорей свое дело. Неужели ему суждено погибнуть на полпути? Ведь уж так много сделано! Это для вас же будет лучше.

О накопившемся в нем бешенстве подчиненные судили по обращению с ними. От его отрывистых слов, люди бледнели, а у Сульпиция менялся даже цвет глаз.

Но проводив патрона ненавидящим взглядом, Сульпиций добрел и просветлялся, переводя взор на своего гениального пленника.

— Мужайтесь, спасение близко, — прошептал он возле самого уха Петрония, когда они наклонились над чертежом. — В вашем освобождении заинтересована одна иностранная разведка; ее агенты есть в числе наших сотрудников. Молчите!

С тех пор Петроний ходил, как в тумане.

По прошествии нескольких дней, он не утерпел и спросил, когда же придет освобождение?

— Оно никогда не придет, если вы не очнетесь и не станете работать. Вашим освободителям нужен изобретатель, а не нервнобольной. Возьмите себя в руки, умоляю!

Но юноша оказался неспособным к рабскому высиживанию и вымучиванию своего открытия. Принудительная работа мысли утомляла и вынуждала подолгу отдыхать, простаивая у окна, глядя в небо.

Там совершал свои привычные рейсы аэроплан.

**
*

Однажды аэроплан перевернулся и начал зигзагами падать.

— Катастрофа!

Падение должно было произойти далеко, за несколько миль, об этом свидетельствовал вид аэроплана, казавшегося не больше ласточки. Но сделав несколько

спиралей в небе, он, не увеличиваясь в размерах, пролетел над самой трубой тюремного здания стоявшего напротив, и с легким звоном ударился в подоконник, перед которым стоял Петроний. Из-за трубы выглянуло чье-то лицо.

Трепещущего, как в лихорадке, молодого человека увели от окна, уложили в постель и дали снотворного. Доктор уверял, что он ничего не понял в происшествии с игрушечным аэропланом.

Но событие это внесло смятение в таинственное учреждение; все ходили раздраженные, сердились друг на друга, действовали невпопад.

Кто-то оставил приоткрытой массивную дверь, всегда державшуюся на запоре.

Проснувшись и стараясь припомнить вчерашнее, Петроний начал в тоске и тревоге ходить по комнатам, — останавливался перед окном, забивался в дальний угол. В запретную дверь вошел случайно.

Там пахло нежилым заброшенным помещением, стояла густая тьма и в ней звездой мерцал свет. Двинувшись на него, Петроний наталкивался по дороге на великолепные стулья, на мягкие кресла, недоумевая, как они могли очутиться в тюрьме. Сами собой дрогнули руки, когда наткнувшись на какой-то предмет и опустив его, опознали круглый стол заваленный газетами. Неподдалеку чуть поблескивала полировка радиоприемника.

Опрокидывая что-то по дороге, сам не раз падая, он рванулся туда где брезжил свет. Пробежав несколько темных комнат и несколько распахнутых настеж две-

рей, попал в просторное помещение. Предметы смутно вырисовывались при свете, шедшем из окон с улицы. Петроний узнал хоры, люстры, решетки на окнах. И вот оно . . . то окно . . . Его даже не потрудились закрыть после того, как он выскочил через него в сад. Там, среди растоптанных тряпичных клумб, одиноко горела электрическая лампочка без колпака, свешиваясь с деревянной подставки вроде виселицы. Освещенная ею пещера походила на недра оперной сцены после представления: — поваленные кипарисы, магнолии, полусферический экран потухшего неба и моря . . .

Закричать ему не дали, закрыли рот рукой, и чуть живого вернули в прежнее помещение. Мелькнуло лицо Нерона с дрожащими от бешенства губами, и другое, бледное как смерть — должно быть того сотрудника, что оставил дверь открытой. Засуетился доктор, ощущивал, выслушивал, поил лекарством, уверял, что ничего не случилось. Он усадил Петрония в кресло, обложил подушками, а когда заметил, что тот впал в забытие, дал знак всем тихонько удалиться.

Но больной захлопал в ладоши.

— Что вам? — наклонился к нему Нерон.

— Bravo! — прошептал Петроний. — Вы гениальны! Вы гениальны!

**
*

Работа остановилась. Сотрудникам не под силу было продолжать провалившийся спектакль. Считались с возможностью сумасшествия или длительной болезни.

Врач навещал пленника каждые полчаса. Иногда приходил Нерон и глядел издали. Сульпиций хмурился, как все. Лишь наедине с Петронием сбрасывал маску.

— Спокойствие, дорогой метр! Дела совсем не так плохи! Через несколько дней мы будем на свободе.

Петроний поймал его руку и покрыв поцелуями.

— Что вы делает! — застонал Сульпиций. — Вы всё погубите!

Через несколько дней, он, действительно, взял всё еще слабого Петрония под руку и стал расхаживать с ним по длинной камере превращенной в лабораторию.

— Смейтесь, ради Бога, и говорите что-нибудь, — шептал он ему. Потом, таким же шёпотом умолял не хохотать во всё горло.

Сотрудники переглядывались.

Но когда, пройдясь взад-вперед несколько раз, очутились перед небольшой дверью, Петроний сжался. В этом доме он стал бояться дверей, хранивших запертую на ключ его судьбу. Стараясь высвободить от Сульпиция свою руку, он сделал попятное движение, но откуда-то взявшийся молодой человек с непостижимой быстротой сделал такое, что не успело дойти до сознания изобретателя, как не успеваешь иной раз человек понять, что он на смерть ранен.

Толкнули ли его в открытую дверь или втощили за руки, он не знал. Яркое освещение сменилось сразу тусклым, желтым, едва обозначившим шероховатость скалистой стены и той, дощатой стены балагана, за которой осталась лаборатория. Он слышал, как она зашумела, точно курятник при появлении хорька. Зазво-

нили звонки, завывла сирена. Каменная почва под ногами забила толчками. Чтобы не упасть он крепко держался за руку Сульпиция, тоже сотрясавшегося всем телом. Временами Сульпиций оборачивал к нему полубезумное лицо и что-то выкрикивал.

— Что с нами? — спросил Петроний и тут только заметил, что они бегут изо всей силы. Долго толклись в каменном коридоре, где не было видно ни зги. Потом коридор закачался во все стороны. Это их сзади осветили прожектором. Раздались выстрелы. Петроний слышал, что за его спиной кто-то отстреливался, но он не спрашивал, кто бы это мог быть, перестал размышлять и утратил способность воспринимать что-либо кроме звуков и пляшущих пятен света. Тело свое он почувствовал с того момента, когда кровь нестерпимо начала стучать в виски, а открытым ртом стало невозможно набирать воздуха. Он бы упал через несколько шагов, если бы шахта не сделала внезапно крутого поворота и не защитила беглецов своим углом от пуль и прожекторов. Очутившись за этим углом, Сульпиций выпустил руку Петрония и в изнеможении припал к стене. Но бежавшие следом два человека тотчас зажгли карманные фонарики и начали шарить под ногами. Блеснул никелированный рычаг, торчавший из какого-то ящичка. Его моментально нажали. Послышался ужасающий взрыв, поваливший всех четверых на землю. Когда улеглось ревящее эхо, не было ни прожекторов, ни выстрелов, ни голосов преследователей. Кто-то в темноте весело закурил.

— Теперь можем отдохнуть и идти спокойно.

**
*

Путь был долгий — узкими ходами, просторными пещерами, через ручьи, мимо подземных водопадов. Луч ручного прожектора выхватывал из темноты огромные выступы и глыбы земной коры. В известковом гроте, осветившемся голубым сиянием, люди отвернулись друг от друга. Все походило на покойников.

— Соберите ваши последние силы, — сказал Сульпиций, когда приблизились к отверстию в которое мог пролезть всего один человек. — Мы уже у цели, скоро будем вне опасности. Надо проползти сквозь эту короткую, но довольно узкую кишку.

Сначала полез один из спутников, потом Сульпиций, за ним Петроний, последним тот юноша, что открывал дверь в лаборатории в начале бегства. Очутившись по другую сторону прохода, он откуда-то взял длинную железную кочергу и орудовал ею в темном жерле до тех пор, пока не вызвал грохочущего обвала. Лавина камней завалила отверстие.

Через десять минут все четверо вышли в полутемное ущелье и полной грудью вдохнули свежий воздух.

— Свобода, свобода, дорогой метр! — закричал Сульпиций, бросившись обнимать Петрония.

Двое других пожимали руку и самым сердечным образом поздравляли с благополучным выходом из подземелья.

— Улавливаете ли этот далекий рокот? — спрашивал Сульпиций. — Знаете ли что это такое? Это море! Море! . . . Это его соленым воздухом вы дышите! . . .

Петроний в самом деле почувствовал запах рыбной бочки, которой обычно пахнет морское побережье.

— Поднимите голову!

Петроний поднял, и над расщелиной скалы увидел небо. Проплыли две белые чайки распластав крылья.

**
*

Дальше нельзя было идти. Поселились временно в пещере. Дышать свежим воздухом выходили по ночам. Ночью море шумело явственнее, долетал иногда гудок парохода. Петронию он представлялся гласом с небес; парохода он ждал, как колесницы пророка, назначенной вывезти его из пасти адовой.

Но ему сказали, что ждать придется долго, потому что похищение произошло преждевременно, до получения формальной санкции начальства. Заговор Сульпиция и его помощников подвергся опасности раскрытия, по каковой причине они похитили изобретателя на свой риск, не сомневаясь, что действия их будут одобрены. Но срок пребывания в ущельи от этого удлинялся.

В пещере были заготовлены мягкие подстилки заменявшие матрасы, запас пищи и воды, ящик батарей для зарядки электрических ламп.

Однажды Сульпиций поставил такую лампу на грубый, но пригодный для работы стол, и положил на освещенное пространство толстую папку. Раскрыв ее, Петроний узнал свои чертежи, наброски и вычисления.

— Как! Вы и это сумели унести?

— Мы сделали бы наше дело наполовину, если бы забыли об этом.

Петроний с любопытством стал рыться в бумагах, как будто видел их впервые.

— Да, тут можно найти кое-что интересное. Вот хоть бы это.

Он вынул лист испещренный уравнениями.

— Это целая проблема. Там, в проклятом подземелье, сколько ни бился, не мог решить. А ведь она не так уже сложна.

Он углубился в вычисления и покрыл цифрами новых два листа. К вечеру Сульпиций заметил у него на лице такое же победное выражение, какое бывало в минуты величайших открытий в подземном доме. На другой день он опять писал пояснительные замечания, делал наброски. Никто ему не мешал. Существование своих друзей Петроний обнаруживал только во время обеда.

— Не правда ли, вам уже немного осталось до полного завершения?

— Да, я предчувствую момент, когда все линии сойдутся в общей точке.

— Вот это будет триумф! И никто не проявит большего восторга и благодарности, чем ваши новые покровители.

* *
*

Тянулись дни и недели. Сульпиций постоянно находился с Петронием, но двое молодых людей днем спа-

ли, а ночью куда-то уходили. Перед уходом они гримировались, приклеивали бороды и надевали рыбацкие куртки.

— Вы представить себе не можете какой опасности подвергаются они каждый раз выходя из ущелья. Это храбрецы из храбрецов. О, дорогой метр, если бы вы знали, сколько несчастий и испытаний доставил нам ваш гений! Вас будут чтить, ваши портреты повесят рядом с портретами Ньютона, но кто вспомнит маленьких людей, погибших при вашем похищении, при вашем освобождении? Кто вспомнит, какую жизнь, полную страха и тревог, вели они, когда рождалась ваша идея?

— Вы полагаете, что когда-нибудь мое имя станет известным?

— Оно уже известно. В мире тайной науки и тайного изобретательства, что создан вокруг военных ведомств и полицейских учреждений, во всех цивилизованных странах вас знают. Ваша мнимая гибель в туннеле парижского метро вызвала настоящий переполох. В нее не все поверили. Тысячи агентов поставлены на ноги, чтобы напасть на ваш след. Спешно возникли секретные лаборатории, где начались работы над вашей проблемой. А самая проблема уже носит ваше имя. Вам не избежать известности, она вам обеспечена даже в том случае, если дело ваше будет завершено не вами, а кем-нибудь другим.

— Но кем же другим? . . . Это невозможно!

— Я тоже так думаю . . .

— Вы это сказали неуверенно.

— Нет, я почти уверен, что первенство останется за вами, иначе и быть не может. Вы уже так много сделали... Но должен сказать: недавно бесследно исчез молодой цюрихский профессор, близко подошедший в своих занятиях к вашей теме. Нет сомнения, что он сейчас работает в одной из подпольных лабораторий, вроде той, из которой нам удалось вас освободить.

— Цюрихский профессор?!.. Вздор! Никому это не по зубам... Я и в горной пещере сделаю больше, чем они в своих лабораториях. Вот посмотрите: на этом листе — формула подводящая итог всем моим опытам в подземелье. Она открывает кратчайший путь к завершению задачи. Кто может меня опередить?

Он возбужденно зашагал по пещере, потом сел к столу и просидел, не вставая, несколько часов. Работал при свете трех электрических фонарей, поставленных ему на стол. После короткой вечерней прогулки, опять за стол, и до утра. Когда из ущелья проникли слабые отсветы дня, Сульпиций ласково попросил его отдохнуть.

Так прошло несколько недель упорного вдохновенного труда.

— Пусть похищают всех цюрихских профессоров! Теперь никто меня не опередит. Осталось несколько опытов, несколько лабораторных исследований... Однако, когда же придет ваш пароход?

— Пароход?.. Да, он придет... И может быть скоро. Несколько дней наша секретная радиостанция кем-то заглушается. Спешно создается новая. Когда она будет готова, всё выяснится.

Молодые люди почти перестали жить в пещере, приходили ненадолго и снова исчезали. Петроний почувствовал усталость. Заминка с прибытием парохода сделала его угрюмым. Он стал часто выходить в ущелье днем. Сульпиций умолял не делать этого.

— Когда-то вы мне говорили, что можете жить без солнца, лишь бы знать, что оно существует.

— Я и жил. Но уверенность, как любовь, должна поддерживаться непосредственной близостью. Не видеть подолгу неба — невозможно! И — хоть краешек скалы, освещенной солнцем . . .

Временами он садился прислонившись к камню и смотрел, как в небе покачивалась залитая солнцем ветка, росшая на самом краю обрыва.

— По одной ветке можно воссоздать мир. Ведь никто мира не видел, — только небольшой его кусочек. Но если этого достаточно, чтобы знать о нем, то почему не достаточно одной ветки? Видя ее качающуюся и озаренную, разве не убеждаемся, что есть солнце, есть ветер, есть вселенная?

Когда он, однажды, так думал, послышался треск, будто лопнула граммофонная пластинка. На небе, как на весеннем льду, появились разводья. Кусок его, похожий на Пиринейский полуостров, отделился и упал на дно ущелья. Из образовавшегося отверстия вывалился человек. Он успел схватиться за край голубого свода и на мгновение повис, болтая ногами. Но край, всё с тем же треском ломающейся граммофонной пластинки, оторвался, и человек упал на самое ребро скалы, придавив ветку, которой любовался изобретатель.

Оттуда он шумно скатился в ущелье, цепляясь за камни, раздирая одежду.

Сквозь дыру в небе виднелись софиты, спектральные фонари, железные конструкции, фигуры людей. С края скалы свесились чьи-то головы; они следили за упавшим.

С искаженным злобой лицом, подбежал к нему Сульпиций, ударив изо всей силы кулаком. Появился другой, пустивший в ход рукоятку револьвера. Петроний узнал Нерона.

Ущелье наполнилось людьми. Это были сотрудники подземной лаборатории.

**

*

Когда лежавшему на земле седому юноше плеснули воды в лицо, он очнулся.

— Вы теперь на воле. Посмотрите, — солнце! . . Вы видите солнце! . .

В глаза бил какой-то свет. Петроний повернулся лицом вниз и застонал:

— Убейте меня! Убейте!



МАНТУАНСКАЯ НОЧЬ

Причиной по которой меня потянуло из Милана в Мантую, была двадцатая песнь дантова «Ада», где сказано, что город этот основан дочерью прорицателя Тирезия.

Она остановилась со своими слугами и чарами
И поселилась, и оставила безжизненное тело,
А затем люди . . .

Основали город на костях умершей,
И по той, кто первая избрала место,
Мантуей назвали его, не вопрошая судьбы.

Истомленному предчувствиями мне захотелось взглянуть на город, при основании которого творили волшебство «над травами и образами».

Мантуя окружена озерами, болотами, защищавшими ее когда-то от нашествий. Из окна вагона видно было, как августовское солнце поднимало в воздух миазмы стоячих вод и как даль тускнела в дымке испарений. В этрусские времена тут был свайный город. Здесь всегда дышали гнилью болот.

Отель, в котором я остановился, выходил окнами на верхнее озеро. Оловянная гладь с кустами зелени, сошла бы за старинный голландский пейзаж, если бы не яркое солнце и не газолиновые цистерны на том берегу, сверкавшие как алюминиевая посуда. Из-за леса, местами, виднелись фабричные трубы. После Милана, хрипящего под пятой железобетонных прищельцев, приятно было видеть, что Калибан современности загнан здесь в лесное логово и напоминает о себе изредка глухим рычанием.

— Там находится очень важная военная промышленность, — сказала со значительным видом хозяйка отеля, водворявшая меня в мою комнату. Шёпотом она прибавила, что хотя это большой секрет, но там работают над изобретением нового вида оружия.

В тот же день я гулял по городу до поздней ночи и к вечеру знал его топографию и его архитектурные дивы. Умилил и растрогал небольшой театр на Пьяцца Кавалотти — старинный петербургский особняк, перенесенный с Мойки или с Васильевского Острова. В Мантуе много петербургского. Местами, чувствуешь себя то возле Конногвардейских казарм, то близ Конюшенной церкви.

Огромное количество парикмахерских. В каждой по два, по три крепких молодых человека в белых халатах, но нет клиентов. В пиццериях, возле пылавших печей — угрюмые мастера, похожие на кавказцев. Они отправляли в печь пиццу с таким видом, будто поджаривали грешников. А поздно вечером, на пустынных

улицах — одинокие фигуры, крадущиеся вдоль стен, избегающие освещенных мест.

Когда я вернулся и лег, мне, как забытое родное лицо, явился во сне театр с Пьяцца Кавалотти. Но колонны его стали исчезать одна за другой, окна заострили очертания, а петербургская охра стен сменилась блестящей фольгой. Он начал расти вверх, превратился в двадцатипятиэтажный металлический шкаф нестерпимой яркости. Я сразу признал в нем одного из марсиан заселяющих нашу планету. И как слабы были мои проклятия перед его прожигающим блеском, которым он меня мучил до утра!

После раннего завтрака в маленькой трапезной, пошел в Палаццо-дель-Тэ, прямо в Зал Гигантов. Занимала не живопись, а картина гибнущего мира. Еще дóма, когда я рассматривал ее по фотографиям, зародилось подозрение в неоправданности его гибели. Теперь воочию стало ясно, что исполинские колонны и каменные глыбы падали неизвестно от чего. Не от жалкой же молнии в руках Зевса, похожей на клочок горячей кудели колеблемой ветром! Да и сам Зевс — салонный, ложно-классический, годился для интриг, для узурпации, для властвования над изнеженным придворным обществом богов сидевших на облаках, как в театральной ложе, но не ему было сокрушать титанов. Неужели это его мановением рушился мир и погибал народ отца нашего Прометея?

Я ушел не взглянув ни на Зал Психеи, ни на другие залы.

Палаццо-дель-Тэ окружено пустырями. На одном расположился цирк со своими фургонами и клетками; слышно было ржанье дрессированных коней и рычанье львов. Возвращаясь к себе, я услышал по радио, чтобы никто не купался в озере и не пил озерной воды. Хозяйка отеля, сорокалетняя блондинка в стиле Пальмы Векхиа, поведала по секрету, что запрещение вызвано досадным случаем: — химический завод на том берегу неосторожно спустил в озеро ядовитые кислоты.

Посмотрев в раскрытое окно, я подивился, как мог среди этих болот родиться поэт, подобный Вергилию?

Мне принесли стакан вальполичелло и, выпив, я прилег вздремнуть на кушетку. В каждом городе я пью вино, которое там производится и верю в его связь с духом местности. Мне опять приснился сюрреалистический сон с ослепительно голыми женщинами и черным небом. Проснувшись через час, увидел вдоль озерного берега белые кителя полицейских никого не подпускавших к воде. Солнце стояло над головами, а с водной поверхности, как со дна стакана, от брошенной щепотки чая, поднимался золотистый настой.

После новой прогулки по городу, я отправился к Пьяцца Сорделло — туристическому сердцу Мантуи. По пути зашел в ротонду Сан Лоренцо. Я без ума от этих миниатюрных величественных романских храмов, как Санта Фоска в Торчелло, как часовня Сен Джон в лондонском Тоузере, Сен Жульен ле Повр в Париже. Сан-Лоренцо — едва ли не лучший из них. Двухэтажная галерея с восхитительными массивными столбами, арками и сводами. Быть христианином стоит для того,

чтобы молиться в таком храме. Оттуда я направился в Палаццо Дюкаль. Полицейский на углу весело и элегантно отдал мне честь. У всех попадавшихся навстречу — радостные праздничные лица. Возле древнего дома Бонакольци, сидевшие за столиками встали и приветствовали меня поднятием бокалов.

— Синьор, вы должны выпить за Мантую.

Подошла разносившая вино девушка и все мы, при восклицаниях «За Мантую!» — выпили. Я был в восхищении. Отправившись через площадь ко дворцу и оглянувшись увидел, что еще какого-то иностранца приветствовали так же. С площади, в расщелине между зданиями виден кусочек озера, подернутый вуалью с отливом цвета одежд Юдифи с картины Джорджоне.

В дворцовом вестибюле тревожной россыпью слов заливалось радио. Взволнованный голос торопил всех у кого есть автомобиль уезжать за город либо другим каким-нибудь способом покидать Мантую.

Но кассир спокойно продавал входные билеты, три девушки бегали взад-вперед, собирая в кучу туристов. Порой, они лихо, по балетному, поворачивались на одной ноге и спрашивали: — Вы говорите по-немецки? Вы говорите по-французски? Туристы очарованно улыбались. Мне самому сделалось так хорошо, что я перестал прислушиваться к металлическому голосу.

Когда нас скопом повели вверх по широкой лестнице, мы ощутили себя одной веселой семьей. Незнакомые люди, обняв друг друга за талию и перепрыгивая, как школьники, через две ступеньки, болтали без умолку. Разговаривали на разных языках, но понимали друг

друга. Почему-то громко хохотали, когда нас привели в аппартаменты выстроенные для карликов и почему-то запели в галерее Пассерино. Потом мы прошлись в чудесном полонезе через зеркальный зал с его великолепным потолком-сводом.

У наших девушек-экскурсоводов оказались глаза кокаиносток, как у мадонн Андреа дель-Сарто. Они протанцевали нам «па де труа» в салоне дельи-Аспиери, перед пышным полотном Рубенса с изображением четы Гонзаго. Всем стало невмочь весело. Мы только мельком видели роспись Мантеньи, проносясь бешеным хороводом через залу Спозы. Глянуло в открытые окна Нижнее озеро и оттуда пахло пением. Пели полицейские поставленные стеречь отравленную воду.

Спускались сумерки, когда мы вышли из дворца оргийно-пьяные, готовые каждую телегу принимать за колесницу Вакха и следовать за ней с тимпанами и тирсами. В темневшем небе, над домами и церквами золотилось облако поднявшееся с озера. Такое бывает перед нашествием Атиллы, перед восстанием гладиаторов, перед налетом неприятельской авиации.

Город жаждал набата, сполошных сирен.

Из распахнутых дверей собора повалила толпа стариков и старух, распевавших псалмы на мотивы из «Гейши». Они не шли, а маршировали и танцевали. Впереди — улыбающийся падре.

— Домой! Домой!

Этот голос, в тот миг, мог еще брать верх над всеми другими заговорившими во мне голосами. Но когда я вышел на Пьяцца-делле-Эрбе, меня как ночную бабоч-

ку потянуло на свет, шедший из раскрытых дверей ротонды Сан Лоренцо. Не успев подумать, я уже протиснулся внутрь и очутился в центре страстного мольбища. Кирпич стен и сводов пылал от множества свечей. В маленькой алтарной нише кто-то читал молитвы, а вся церковь исступленно пела. Над пением взвился, вдруг, петушиный крик: «Не погрешим против плоти!»

Залпом грянуло «Амен!» Где-то заиграли мексиканский танец и все свечи хлынули на площадь.

Среди криков и ликований загудел громкоговоритель о том, что кислоты попавшие в озеро соединились с гнилостными элементами дна и породили опасные испарения. Но Мантуей уже овладело безумие. Я сам возрадовался тысячелетним тайнам дна, выходящим наружу. Дух Манто встает и напояет воздух! Как было не поддаться всеобщему веселью? А радио кричало о спасательных поездах посланных из Милана и Вероны. Но голос диктора скоро смолк. Другой, пьяный, весело расхохотавшись поздравил мантуанцев с величайшей победой духа, с пробуждением древних чар и богов.

— Возрадуемся безумию!.. Да здравствует сеньер Джулио Романини и его эликсир блаженства!

Имя Джулио Романини, знаменитого химика, повторялось на каждом углу. Пили за его здоровье. Появились женщины одетые с предельной откровенностью. В ярко освещенных парикмахерских, с визгом и хохотом, им делали папуасские прически. Они жмурились, когда парикмахеры целовали их в плечи и в шею.

И вдруг, электричество погасло.

Весь город испустил вопль звериного счастья. Темноте обрадовались, как покрову греха и недозволенных наслаждений. Ее приветствовали автомобильной катастрофой.

Возле рыбного рынка, с визгом попавшей под колеса собаки, столкнулись две открытых машины. Горлавившие пассажиры взлетели навстречу друг другу и сплющиваясь упали, смешав свою кровь с бензином. Кто-то бросил спичку. Возник хоровод, как вокруг костра Ивановой Ночи. Никто не слушал городских властей, приказывавших по радио прекратить автомобильное и автобусное движение. Машины с упоением давили народ и разбивались в экстазе о стены и тумбы.

Вместо погасшего электричества появились факелы, свечи, пучки горящих газет.

Со стороны Корсо Гарибальди поднялось зарево, охватившее полнеба.

Уголкем мозга я понимал, что город терпит страшное бедствие, но веселье давило все шёпоты рассудка, особенно, когда я зашел в сеть маленьких улочек между Виа Бертини и Виа Корридони. Там плясали на крышах. Женщины с визгом перепрыгивали через улицу. Падали. Разбивались. Мимо меня, как во сне, пробежал страус. Где-то кричали про слона. Пронеслись вихрем лошади с белыми султанами на головах.

— Цирк! Цирк!

Медведя, шествовавшего на задних лапах, встретили овациями, но шарахнулись от окровавленного льва.

От Пьяцца Мантенья — процессия битниц с растрепанными волосами. У тощей, высокой, что шла впереди,

глаза, как граненый хрусталь, играли отсветами пожара. За нею, с грохотом волокли на веревке бронзового Виргилия.

И та, что закрывает свои груди,
Которых ты не видишь, распущенными косами,
И у кого там же все волосатые части,
Была Манто бродившая по многим землям.

Мне захотелось ближе рассмотреть ее, но у битниц оказались ножи в руках и меня не подпустили.

По каким улицам бродил и танцевал, какие вина пил, которыми меня угощали, — не знаю. Очутился в вестибюле своего отеля, где меня встретила хозяйка, грозно подбоченясь.

— Посмейте только отрицать, что сеньор Джулио Романини — великий человек! Я его видела, когда еще была в девицах. Его уже тогда отличал сам Дуче.

Я сделал низкий поклон и мы закружились в старинном вальсе. Потом я принял ключ, преклонив колено и поцеловав ей руку. Поднимаясь к себе, видел с верхней площадки, как хозяйка пустилась в бешеный канкан.

Колдовские пары озера неслись в распахнутое окно моей комнаты. Я вдохнул их всей грудью и понял, что можно возрадоваться безумик. Здесь, в тесной комнате бедного отеля, свершилось дело моей жизни — я проклял ложь элевзинских таинств, желтых фавнов и нимф и познал истинного бога — сеньора Джулио Романини. Павши на колени, молил о благодати явления. И что-то белое зародилось в дали. Ко мне приближа-

лась дочь Тирезия, волшебница Манто, уставившая в пустоту граненые глаза, прозревшие мою судьбу.

— У меня нет судьбы, моя жизнь — из обломков. Не вопрошай, как не вопрошали мантуанцы, поставившие город на твоих костях!

Она открыла рот и медным, как паровозный гудок, голосом приказала мантуанцам не выходить из домов. Уже прибыли спасательные отряды из Милана в противогазовых масках, а сеньор Джулио Романини нашел нейтрализующее средство против болотных паров.

Разбитый обессиленный проснулся я на полу своей комнаты. Рупор с того берега выкрикивал какие-то распоряжения. Светило солнце. Полицейских на озере не было. Две большие птицы, похожие на журавлей, взлетели над водой и растаяли в алюминиевом воздухе. Сосед американец, войдя, расспрашивал о происшествиях ночи. Он сказал, что в полночь хозяйка голая ходила по отелю.

Но когда я через два часа спустился в вестибюль, она величественно восседала за своей конторкой и поспешила твердым тоном поведать, что вчера вечером в Мантуе ничего не произошло и если мне будут говорить какой-нибудь вздор — не верить.

На улицах спокойно. Кое-где вставляли разбитые стекла, закладывали и замазывали выбоины в стенах, подбирали осколки автомобилей. О сотнях человеческих жертв, о вчерашнем безумии никто не упоминал; на вопросы отвечали либо незнанием, либо молчали. Одного иностранного корреспондента отправили в психиатрическую клинику. Он целую ночь, с полотенцем

на бедрах, бегал по улицам и приставал к женщинам, изображая сатира. Но говорили, что все дело в телеграмме, которую он хотел послать в редакцию своей газеты по поводу мантуанских событий. Я отправился на Пьяцца Вирджилиана и издали увидел, что монумент весь в лесах. Десятка два рабочих водворяли Виргилия на его место. Нехотя отвечая на мои вопросы, они сказали, что ночью какие-то злоумышленники стащили статую с постамента.

Я взял билет на поезд и через час был в Вероне.



СЕНЬОР ТОРО

Тень большим полумесяцем легла на половину гигантского кратера. Другая часть, залитая солнцем расцвела, как покатость холма, когда ее заполнили красные, желтые платья, белые кофточки, зеленые рубашки.

Пока жерло цирка наполнялось народом, арена находилась во власти рекламы. По ней разгуливала большая бутылка Соñас Saavedra Fajardo. Разостланные по песку полотнища восхваляли лучшие рестораны и модные ателье Мадрида. Но вот их снимают и уносят, бутылка куда-то пропадает, большие часы показывают шесть.

Тогда появляются два нарядных всадника в плащах и в шляпах с перьями, а за ними все участники корриды, вплоть до тройки коней назначенных увозить с арены убитых быков. Это оперное вступление совершается под музыку, но оркестр поместившийся где-то на верхнем ярусе дребезжит чуть слышно. Зато фанфары вещающие появление быка взвинчивают весь цирк.

Во время борьбы не бывает безразличных зрителей, каждый принимает чью-нибудь сторону. Я принял сторону быка. Покорила его обреченность. Каких бы подвигов ни натворил он в оставшуюся четверть часа жизни, ему не уйти с арены.

Перед ним сразу четыре красных плаща. Но когда он их одного за другим загоняет за щиты расставленные вдоль барьера, выступает молодой человек и начинает игру. Плащ изящно взвивается в воздухе в тот момент, когда рога чудовища проносятся в двух дюймах от его бедра. Так несколько раз. Каждый удачный поворот награждается аплодисментами. Можно было заметить ревность и перебранки между бандерильерами, когда кто-нибудь опьяненный успехом, слишком долго задерживал быка. Цирк ахнул когда один такой нарядный господин поднят был на рога, и брошен на землю. Это аханье толпы — не страх и не сожаление, в нем затаенное желание всякого идущего на корриду, чтобы убит был не бык, а тореро.

Но бык обнаружил полное отсутствие школы. В детстве приходилось видеть, как простой русский бычок, повалив пастуха, спокойно нащупал у него ребро, за которое и подцепил своим раскосым рогом. Горячий ибериец с парой великолепных, как ухват, рогов, не только не сумел забодать поверженного противника, но не догадался садануть его хорошенько копытом. Он тыкался мордой и, видимо, ничего серьезного не причинил, потому что молодой человек, улучив минуту, вскочил на ноги и продолжал игру, сорвав шорох аплодисментов.

Когда бык разошелся, по звуку фанфары въехали пикадоры. Их было два. Один значился, как *picadore de reserva*. Не будь на них великолепных курток расши-тых позументом, их можно было принять за Дон Кихотов, до того шляпы походили на медные тазы, а лошади — вылитые Россинанты. Тощие, с завязанными глазами, они походили на христиан из „*Quo vadis*“, которых выводили на арену зашитыми в мешках. Хотя грудь и бока их прикрыты кожаной попоной — на них живого места не остается после схватки с быком.

Направив свою ничего не видящую клячу на разъяренного зверя, пикадор вонзает ему копые в хребет. Копье устроено так, что проникает в тушу не более, чем на полтора дюйма. Оно прокалывает только кожу и под-кожные ткани, но приводит животное в полное бешенство. Пока пикадор налегает на копые, бык с остерве-нением бодает лошадь, прижимает к забору, иногда оп-рокидывает. И за все время яростной бычьей атаки, когда публика ахает и взвизгивает от страха, из лоша-диной груди — ни вдоха, ни стопа. Только поднятая голова на длинной худой шее дергается так, что у са-мых тупых зрителей сжимаются челюсти и прищуриваются глаза.

Пикадоры еще не сошли с арены, а уже фанфары требуют выступления бандерильеров. Они по очереди выскакивают на середину круга и криком призывают быка. Бык и бандерильер несутся друг другу на встречу с такой скоростью, что трудно бывает уследить, как в черную шею вонзается пара разукрашенных стрел. Искусство с которым молодые люди увертываются от

бычьих рогов не поддается осмыслению. И все же публика осталась недовольной: только одна пара бандериллий посажена была как следует — две другие вихлялись и через некоторое время выпали.

Бандерильи снятые с удачно убитого быка ценятся высоко. Сидевшему неподалеку от меня пожилому господину принесли, к концу корриды, пучок таких бандериллий. С них еще капала кровь. Не торгуясь он выложил тридцать шесть пезет и, когда принимал стрелы, лицо его сияло от удовольствия.

Фанфары и аплодисменты возвестили появление матадора. Как много дал бы этот голубой тореро, чтобы его не встретили, а проводили рукоплесканиями! Он покрыл себя позором. Шесть раз колол быка и все неудачно. Шпага чуть воткнувшись отлетала, как тростинка. Один раз она осталась торчать, но вошла так неглубоко, что серьезного ранения не получилось. Бык лихо разгонял кружившихся возле него врагов, пока не сбросил шпагу на землю. Он был весь в крови и тяжело дышал. Но когда эспада выступил снова, бык отомстил ему овечьей кротостью, он понял свою судьбу и покорно ждал жестокого удара. Шпага опять отскочила, как от железа. На этот раз в публике раздался рев. А бык явно затосковал по стойлу, он стал искать ворота через которые вышел к месту последних мук. Перед ним закружился вихрь плащей, и подняв залитые кровью веки, он снова увидел своего убийцу. Эспада был поставлен в невозможное положение — убивать смиренного быка; видно было как он требовал, чтобы его опять разгорячили. Но за пятнадцать минут пребыва-

ния на арене бык постиг суетность борьбы. Пятым ударом его глубоко ранили, но шпага опять поторчав немного упала на песок.

Легче было быку встретить смерть, чем матодору снова поднять на него руку под свист и крики толпы. Шестой удар не лучше пятого. Сохранись у быка воля к жизни, он заставил бы бездарного эспаду колоть его бесконечное число раз. Но бык захотел умереть, как Сенека. Улегшись на смоченный собственной кровью песок, как на солому, он устремил глаза в пространство и перестал замечать своих гонителей. Тут совершилось величайшее злодеяние: его стали приканчивать всей бандой, пустив в ход чуть ли не перочинные ножи. И все так же кустарно и неумело. Среди работавших особенно отличался один с коротким кинжалом, наносивший без числа удары в затылок, не попадая в смертельное место.

Когда страдалец испустил дух, и тройка коней поволокла его с арены, ему рукоплескали как победителю.

Христианская религия предусмотрительно лишила души животных бессмертия, в противном случае нам нельзя было бы показаться на том свете.

Второй эспада, Дамасо Гомец, в костюме абрикосового цвета, выступил против более свирепого быка, и смелой игрой вызвал шумный восторг. Особенно удался ему эффект, когда, заворожив быка плащом и повергнув в столбняк, он повернулся к нему спиной и спокойно отошел прочь, раскланиваясь с публикой.

В цирке существует своя религия, в которой бык — божество. Я это чувствовал по голосу Дамасо, когда он приближаясь к быку почтительно назвал его: «Сеньор Торо!»

Двадцать тысяч глоток испустили страшный вопль при виде шпаги тореро поднятой для смертельного удара. У быка полилась кровь изо рта. Она лилась так эффективно, что человек видевший ее впервые в таком количестве, не содрагался. Бык походил на петергофский фонтан пущенный в ясный летний день: шумят каскады, переплетаются струи, а у медных львов и грифонов хлещет вода из пасти. Только спохватившись можно ужаснуться преступности зрелища. Чью бы кровь ни проливали — уничтожение живой материи и превращение ее в мертвую всегда будет величайшим грехом на земле. И всегда это будет ударом высекающим искру из самого кремневого сердца. «Видяще предлежаща мертва, образ восприимем вси конечного часа: сей бо отходит яко дым от земли, яко цвет отцвете, яко трава посечесе».

Минута, когда у быка начинают подкашиваться ноги, достойна обнажения голов и траурного марша, либо реквиема.

В православном отпевании — самом волнующем произведении мировой литературы — сказано, что душа разлучающаяся с телом совершает подвиг. Нет большего испытания, чем стоять лицом к лицу с бездонной пропастью, не видя ниоткуда помощи. Смерть всякого живущего есть подвиг. Все велики в этот миг и все достойны преклонения. А смерть быка поразила людей

еще на заре цивилизации. Панихидный плач возник над телом Эабани, человека-быка, в поэме о Гильгамеше.

Друг, кого я любил, сделался прахом!

Эабани, мой друг, персти земли стал подобен!

Ужели и я, как и он успокоюсь

И не восстану во веки веков?

Дамасо Гомец с триумфом прошелся по арене. Ему бросали шляпы и кожаные бутылки с вином. Он отпихивал и швырял их обратно через барьер.

Третий эспада, Рауль Иглезиас, оказался немногим лучше первого. Убил он быка с четвертого удара и то некрасиво. Побродив по арене со шпагой в лопатках, бык уселся по собачьи у самого барьера и погрузился в раздумье... Добивание его походило на старинную сказку: смерть великана заедаемого карликами. Громадный, неподвижный, весь ушедший в таинство смерти, он выглядел ослепленным циклопом молящимся своему отцу Посейдону.

Против четвертого быка вышел опять голубой Родриго Каганчо. Ему представлялся случай загладить неудачу первого выступления. Три раза бросался он на быка и каждый раз шпага отскакивала. Бык ревел на бесталанного тореро, а какой-то шутник с галерки голосом зычным, как рупор, отпускал едкие остроты. И то верно: нужна необычайная сила, чтобы не сбиться с удара, когда громадная толпа рычит в момент поднятия шпаги.

Зато Дамасо Гомец снова блеснул, на этот раз ярче прежнего. Шпага была посажена по самую рукоятку, и

бык снова пролил в песок потоки крови. Чем горячее и свирепее бык, тем трагичнее его умирание. Так и у Шекспира. Нас совсем не трогает смерть рассуждающего Гамлета; участь кроткой Дездемоны и Корделии внушает жалость; но подлинно трагическим чувством отмечена гибель неистового Кориолана и могучих злодеев — Макбета и Ричарда III. Чем неуёмней, чем ярче жизнь, тем сильнее содрогается сердце, когда «единым мгновением и все сия смерть приемлет». Грозные мужественные быки умирают мучительно, бьются в судорогах, дергают головой и ногами. Так умирал и бык сраженный Гомецом.

Когда он затих, в цирке пошел снег: все махали платками.

Какой-то сеньор в синих брюках с белыми отворотами перескочил через барьер и, сняв шляпу и почтительно неся ее перед Дамасо, прошелся с ним по кругу. Что все овации певцам и актерам в закрытых театрах и концертных залах, в сравнении с этим шествием по пропитанному кровью и залитому солнцем песку, под гул всенародных похвал и восхищения! Только слава королей и полководцев может сравниться с таким блеском.

Прикоснуться хоть краем губ к волшебному напитку захотел Рауль Иглезиас в своем втором выходе на арену. Он снял и бросил шляпу с таким видом, точно хотел победить или умереть. Он и в самом деле играл со смертью, пропускал быка так близко от себя, что вызывал крики ужаса. Великолепный, расшитый костюм его почернел от бычьей крови, а в грудь угодило концом

бандерильи болтавшейся на шее быка, так что тореро должен был отойти к барьеру, чтобы перевести дух. Надобно сидеть близко к арене, чтобы понять, что такое бык несущийся во всю мочь. От него, как от паровоза, ветер во все стороны.

Игра Иглезиаса была дерзкой и великолепной, но все пропало даром. Убил он быка со второго удара и некрасиво. Право на аплодисменты за ним было признано, но когда эспада, подняв с земли шляпу, раскланивался с публикой спешившей к выходу, он был похож на просящего подаянье.



ПОСЛЕДНИЙ

Лоси знали, что они боги. Над речкой, в лесу, сохранились их священные изображения, выцарапанные кремневым ножом по красному песчанику. В древности они снисходительно принимали поклонения жалких существ, ютившихся в землянках, и столь же снисходительно отнеслись к их отступничеству, когда появились ложные боги. Но и после того, сотни лет, презренный человек трепетал и воздевал руки, когда белоногий зверь с ветвистыми рогами царственно выходил из леса.

В те дни всё принадлежало лосям и не было границ их владениям.

Первая, чуть заметная, тревога началась с Рюрика. Но тогда еще никто ничего не понимал. Лет через триста, пришли рыцари меченосцы; начался отход с побережья Балтики. В хронике доктора Тростиниуса из Упсалы сказано: в дни счастливого правления магистра Вальтера фон Платтенберга, лоси покинули владения высокомогущего ордена и ушли за озеро Пейпус, в землю великого герцога Московского.

В те же годы, на берегах Наровы видели белого лося, о чем записано в Рижской Хронике. Его видели под Псковом и на Ловати, и под Ладогой. Везде появились надкусы сделанные им на коре осин и толстых ольх. Он первый обозначил границы лосиного царства. Они были объявлены вечными и неизменными после того, как родился лосенок с пятном на боку, воспроизводившим их очертания.

Но Ливонская война отогнала зверей от Нарвы, от Копорья; после Смуты потеряны были владения за Гдовом, а при Петре пришлось уйти от Невы и от Ладogi. Стал строиться Петербург.

Правда, в тревогах тех лет было много спокойствия. Петербургский шум не долетал, столичная знать охотилась больше на зайцев, скакала по полям, в лес не заходила, а у мужиков не было ружей. Изредка выезжал из своего гатчинского дворца сумасшедший Григорий Орлов, он стрелял из семиствольного ружья, но ни одного лося не убил. Действительный статский советник Загорулько, представивший в Императорскую Академию Наук сочинение «Лоси в царствование императрицы Екатерины II», полагает, что время правления этой государыни было самым счастливым для них. «Токмо один волнительный и слезного рыдания достойный случай, возле селения Трохинского происшедший, омрачил счастливый век лосиного народа и тень злоеущую, яко длань смерти на оный простер». Это, когда мужик топором зарубил лося, провалившегося по брюхо в трясину.

Новая эра открылась в царствование императора Александра I. Барон Фалькерзам скупил все леса бывших Шелонской и Водской пятин и сделался хозяином лосей. Он запретил их убивать и добился от Сената строгих указов, грозивших крестьянам судом и карами. Животные стали быстро размножаться. В деревнях бабы рассказывали ребятишкам, как, отправившись в лес по ягоды, часто встречали красивых зверей с белыми ногами. Иногда проносился мимо целый табун, забрасывая их шапками грязи. Одной бабе лось угодил копытом в лукошко. Из поколения в поколение Фалькерзамы охраняли древних зверей, приучив их не бояться человека. Мызу свою поставили в лесу, вдали от больших дорог и с лета заготавливали стога. Когда зимой не хватало корма, лоси подходили к мызе и ели баронское сено.

Все кончилось в семнадцатом году.

Уже летом животные стали пугливы, бессмысленно переходили с места на место, а с наступлением зимы, подолгу прислушивались к шуму деревень. Возвращались солдаты с фронта с винтовками, с лентами патронов, пили самогон, плясали под гармошку.

В морозную январскую ночь последний Фалькерзам бежал со своей мызы. К весне, когда образовался наст, в лес двинулась армия оборванцев с ружьями. Каждый день падало несколько лосей. Сначала звери хотели податься в Эстонию, но там на границе стояли немцы. Тогда половина их забилась в глушь старопольских и ямбургских лесов, а другие устремились к Волхову. Все оставшиеся в баронских владениях погибли, счастливее

оказались те, что ушли к Луге и к Новгороду, где лосей никогда не было, не было и мысли об охоте на них. Мужики при виде их, больше дивились, чем хватались за оружие, а когда хватались, было поздно. Пало всего два лося.

С наступлением лета опасность вовсе миновала. Мужикам было самим до себя: по деревням рыскали продовольственные отряды, забирали хлеб, отнимали оружие. В лес никто не ходил и не стрелял. Родились лосята. Но зверям казалось, что в небольших зарослях и перелесках их видит весь мир. Тянуло назад, в родные места. Там шла война — наступал и отступал Юденич. Когда Юденич ушел в Эстонию, звери начали возвращаться во владения Фалькерзама. Там теперь было тихо, стрельба прекратилась. Уездные и волостные исполкомы искали и отбирали ружья у крестьян. Лоси ожили. Но их уже мало осталось. Знакомый лес стоял, как запущенный дом.

Сам барон жил в это время в Англии и служил в Британском музее в отделе каталогизации русских книг. До него доходили, иногда, петроградские газеты из которых он узнал, что мыза его приспособлена под дом отдыха для членов губкома и губисполкома.

Профессор Чимков, ученик Кайгородова, написал в Красной Газете заметку «Лоси и пролетарская революция», доказывая, что сохранение остатков древних животных — в интересах рабочего класса. Ему отвечал заместитель председателя губпродкома:

«Пролетарское государство не кунсткамера; сохранять в нем реакционные затеи прошлого, значит дер-

жать трудящихся в духовном рабстве. Что такое лоси? Баронское самодурство. Потеха. Советской власти не до потех. При проведении смычки города с деревней, в условиях неликвидированных еще остатков капитализма, опасно попадать в плен к вражеской идеологии». Зампред намекал на непролетарское происхождение Чимкова и во весь рост ставил вопрос: — состоит ли профессор в профсоюзе и аккуратно ли платит членские взносы?

Рабочие балалаечной фабрики целиком солидаризировались с зампредом и вынесли резолюцию протеста против вылазки классового врага:

«Долой лосей! Выше знамя социальной революции! Да здравствуют вожди продовольственного фронта!»

Потом барон получил из Финляндии письмо от своего бывшего лесника и узнал, что у членов губисполкома, отдыхающих на мызе, возникла мысль об охоте. Пернатую дичь уже начали стрелять; зимой начнется охота на лосей. Но в эту зиму охота не удалась. Товарищ Гиршберг, заведующий канализационным отделом, чуть не застрелил товарища Дорофанкина, приняв его за лося. Последовало строгое распоряжение: всех кто в пенсне не допускать к охоте. Кроме того, в губ-кака стали поступать заявления о морально-бытовом разложении отдыхавших на мызе товарищей. Отправили тройку для расследования. Тройка непосредственно убедилась, как в морозную ночь, отдыхавшие, шатаясь, выходили из дома и дойдя до стогов начинали дружно выть, наподобие волчьей стаи. Дело замяли, потому что

в числе завывавших оказался член бюро губкома партии.

За эту зиму не погибло ни одного лося.

**
*

Барон Фалькерзам нашел, однажды, на своем столе письмо от герцога Портландского с приглашением присутствовать на церемонии установки мемориального камня в его владениях в Сутерланде, по дороге из Броры в Хельмсдаль, где убит был охотником Польсоном последний волк в 1700 году.

Съехалось много народа. Сэр Джордж Хьюдж, почетный член клуба, произнес речь. Он говорил о ~~мате~~ *мисте* риальном значении события, случившегося на этом месте, два с четвертью века тому назад, и о том, что оно навсегда останется в летописях Великобритании.

— Быть последним, это тоже избранничество, — сказал сэр Джордж. — Последний, как и первый, отмечен знаком судьбы. Есть печальное величие в слове «последний», в нем расставание навеки, уход из мира того, чего никогда больше не будет. Последний — это завершение. Слава охотнику Польсону! Слава великому волку — страдальцу и предстателю за свой род перед вечностью!

Все сняли шляпы. Оркестр исполнил реквием.

Возвращаясь домой, барон думал о речи сэра Джорджа. Он и не подозревал, что в его прежних владениях родился лось, которому тоже суждено быть последним.

**
*

Еще совсем маленьким, он перемахнул через лесной ручей с легкостью на которую не способны оказались его родители. По каждой встречной поляне пускался бегать с такой радостью, что у отца и матери не хватало духа остановить его. Он обожал лес, запах листьев, крики птиц, все древние места, по которым его водили, вроде той широкой прогалины поросшей вереском, куда лоси, с тех пор как существуют, сходились время от времени, сами не зная зачем. Видел и ту поляну, на которой происходили смертельные поединки вожаков. Однажды его привели к великой осине. Вся в струпьях от надкусов знаменитых предков, вся в преданиях об их подвигах, про которые шумели редкие листья. Только самые сильные прикасались к коре священного дерева, чтобы оставить отпечатки зубов на память потомству.

Родители с благоговением смотрели на эту летопись лосиной империи. Они были потрясены, когда их детеныш, поднявшись на задние ноги, сделал глубокий надкус рядом с надкусами предков. С этого дня им стало ясно, что он призван к чему-то значительному. Они не пресекали больше его шалостей, позволяли резвиться, даже в таких местах, где чуяли опасность. Только когда он вздумал промчаться вдоль прямой, сколько глаз хватит, просеки, они громким фырканьем выразили свой ужас. Просеку полагалось перебегать ночью, либо в сумерки, и то со скоростью полета птицы.

Лосенок любил дремать лежа где-нибудь в зарослях. Привалившись к боку матери, согретый ее теплом, он слушал зеленую повесть листвы, мечтал о лесной славе, о древесной империи. Но его снедала печаль родителей. Отец, забравшись в кустарник и забывши про корм, подолгу стоял, свесив великолепные рога. Мать тоже предавалась горькой задумчивости. Все встречные лоси гнулись под невидимым бременем. Зачем так часто бежали они десятки верст от случайного шороха или хруста валежника? И почему, прокатывавшийся по лесу выстрел наполнял их безумием?

Открылось всё зимой.

Как-то раз, через поляну промчался лось с жалобно запрокинутой кверху мордой. За ним три человека на лыжах с ружьями, запыхавшиеся, потные.

**
*

Ему пошел третий год, он превратился в стройного лося, но не покидал отца и мать. Чувствовал, что кроме них мало уже осталось родичей.

Ближе к весне, когда с веток начали падать капли талой воды, двинулись всем семейством к Лисьей Горе, где стоял молодой сочный осинник. По дороге срывали тонкие ветки с почками или торчащие из-под снега верхушки кустарника. Старый лось вдруг отпрянул, увидев цепь человеческих следов. Все трое ринулись прочь, не останавливаясь даже перед просекой, промелькнувшей, как вспышка света. Что-то грохнуло на весь лес. Матери больше не было.

Снег сделался ноздреватым, грязным. Кое-где показала прошлогодняя сухая трава. Начались тетеревиные и глухариные тока. Молодой лось отстал от своего отца. Он бродил по лесу томимый неизвестной мукой, испускал, порой, молящий крик. Раз впал в настоящее безумие: выскочив из леса в виду какой-то деревни, набросился на покосившийся сенной амбар и повалил его.

Пришел в себя с наступлением лета. С этих пор, в тишине леса мерещились чуть слышные вздохи. Отца он не встретил ни разу. Других лосей тоже не попадалось. Как-то раз, напав на следы раздвоенных копыт, почувствовал непреодолимое желание увидеть собрата. Гонялся целый день и лишь к вечеру почуял его близость. Но подходя, хрустнул сухой веткой и увидел, как черная груда вскочила и с топотом скрылась во тьме. Он жалобно замычал вслед убежавшему.

Зимой снова стали раздаваться выстрелы.

Профессор Чимков, потрясая новенькой профсоюзной книжкой и вскользь упомянув о своем недавнем посещении тов. Позерна в Смольном, выступил с разоблачением деклассированных элементов, истребляющих последних лосей. Ему удалось привлечь внимание Москвы к этому вопросу, но, как раз за связь с Москвой на него ополчились питерские газеты.

«Кто такой Чимков? Это примазавшийся. Он без году неделя, как в профсоюзе, а уже хочет учить закаленных в классовых боях товарищей. Он всегда ратует за сохранение проклятого прошлого».

Чимкова объявили внутренним эмигрантом и потребовали снятия с работы.

Но однажды все его гонители сами исчезли куда-то. Газетные передовицы, неожиданно, взяли Чимкова под защиту, называли «попутчиком», а уничтожение лосей признали грубой политической ошибкой зиновьевской клики.

Обрадованный Чимков выступил с новыми разоблачениями; он обратил внимание пролетарской общест-венности на Ваську Тюрина из деревни Вындыба — лодыря и самогонщика, — главного истребителя лосей. Под овином у него хранился обрез и несколько десятков патронов, оставшихся со времени нашествия Юденича.

На этот раз Чимкова одернули, как зарвавшегося.

— Без перегибов! Мы должны уметь отличать активных общественников села от каменевско-зиновьевских прихвостней!

Но старания Чимкова не пропали даром. Сам Луначарский высказался за сохранение последнего лося.

* *
*

А он еще не знал, что последний.

После нового весеннего безумия, когда на его крики опять никто не отозвался, он принялся за поиски собратьев. Чуть свет пускался в путь, обнюхивал каждую примятую травку, вглядывался в каждую царапину на осинах. Из нор, из-под колод выглядывали ост-ры мордочки, сообразительные глазки.

— Какой большой! И как он уцелел?

Смотрели с осуждением Он еще зимой заметил, что волки перестали выть, терпеливо перенося голод. Лисицы, полагаясь на свою хитрость и умение найти пищу, самодовольно обособились. Вся прочая дрянь сама себя считала до того ничтожной и неинтересной для человека, что не опасалась за жизнь. Дятлу, занятому весь день долбежкой деревьев, невозможно было внушить чувство опасности. Надо было бежать от дураков-глухарей, усаживавшихся на вершинах и начинавших предательски чувывать, забыв обо всем на свете. Даже рыжие белки, перескакивавшие с дерева на дерево вызывали подозрение в намеренном колебании ветвей. Но самой подлой доносчицей оказалась сорока. Завидев его, она поднимала шум на весь лес и летела следом, указывая его путь.

С наступлением осени стало трудней укрываться от вражеского глаза, даже в такие дни, когда небо зацепляло за деревья своим грязным брюхом.

После снегопада, кляксами обозначились вдоль просеки следы Васьки Тюрина.

Как некогда его отец, лось начал часами простаивать в какой-нибудь ложбине. Тихо падавший снег образывал сугроб на спине и навешивал на рога густые белые шапки.

Лось знал, что когда снега будет больше, появится враг. Он чувствовал себя в силах уйти, запутать следы, утомить длинными переходами, но холодный сырой рассвет каждое утро твердил об одиночестве и о том, что оно хуже смерти.

По укоренившейся привычке, он избегал березовых лесов, где между деревьями далеко видно; прятался в еловых и сосновых зарослях. Шел сам не зная куда и зачем. Неожиданно оказывался либо у великой осины, на которой так дерзко оставил отпечаток зубов, либо на поляне, где происходили сборища лосиного народа. На одном из таких священных мест почувствовал, как достаёт сквозь снег копытами до земли. Это погрузило его в сладкое забытие. Он понял, что остался единственным наследником лосиного царства и скоро умрет от руки существа обутого в грязные опорки, осквернявшего снег желтыми плевками и махорочными окурками.

О нем пошел слух по деревням. Писали в «Красной Газете».

— Спасите последнего лося! — взывал Чимков. Но весь мир занимался троцкистско-зиновьевским блоком.

Тогда Васька Тюрин достал обрез из-под овина. Он не умел преследовать зверя, но знал его любимые места и мог целыми сутками просиживать в засаде, в укромной пуне, потягивая самогон.

Лось начал последний обход своих владений, чтобы навек запомнить и запечатлеть. Он верил, что запах пронизываемого солнцем ноздреватого снега, вкус готовых пробудиться древесных почек, рисунок ветвей на синем, вымытом небе и перспектива лесной чащи — никогда не умрут.

В яркий солнечный день, ветер пустил шумную молву по верхушкам о том, что последний лось идет поклониться красному выступу скалы над незамерзаю-

щим омутом речки. Как при проезде царственной особы, на него посмотреть слетелась шумная стая сорок, синиц, соек. Над поляной, от которой недалеко было до речки они подняли гвалт.

Раньше, он стороной обходил каждое открытое место, но сегодня вскинув рога, пошел прямо через поляну.

На середине, его как огнем прожгло насквозь.

Когда грянул второй выстрел, он уже мчался через кустарники и перелески, думая только о том, чтобы добежать до заветной скалы. В глазах мутилось. Сквозь сетку смертной сени, как сквозь сплетение ветвей, мелькнули — берег реки, черная прогалина омута с крутящимися воронками, с вулканическими бугорками воды, высокая стена песчаника на той стороне и торжественные силуэты предков.

Он был у себя.

Суетня сорок и синиц предупреждала о приближении врага, но мир, в котором жил Васька Тюрин, больше не существовал для него. Стекавшая по ногам кровь, уносила его в вересковые поляны вечности, к бессмертным осинам, к белоногим богам.

Убийца подошел близко. Он увидел стройного зверя, застывшего перед тысячелетней скалой.

Засаленный, никогда не чипденный обрез выстрелил. Последний лось пал.



ПЕРВОГО ПРИЗЫВА

В последней жестокости есть бездонность нежности.
З. Гиппиус.

Идя по улице, я услышал над головой жалобное мяуканье. Маленький котенок забрался на дерево и не знал, как слезть с него. Заметив, что я участливо смотрю, он замяукал еще громче.

— Ах ты глупый! — сказал я по-русски.

— Глупый и есть, — произнес у меня за спиной тоже русский голос.

Седоватый человек, вместе со мной, следил за кошачьей трагедией.

— Как же теперь его снять?

Незнакомец сделал рукой жест, означавший «эврика» и побежал на крыльцо ближайшего дома. Через минуту вернулся с кухонной лесенкой. Будучи моложе, я предложил свои услуги, но он отказался.

— Нет, уж не лишайте меня удовольствия. Я сам . . .

Когда он снял котенка, лицо его светилось, точно он прижимал к груди родного сына. Бормоча что-то ласковое, пошел с ним на крыльцо к стоявшей там хозяйке, а я отправился своей дорогой. Зайдя в знакомый лончонет, я сел к стойке на вертящийся стул, заказал

сэндвич и в ожидании пока его приготовят, углубился в газету.

— Да, котенок для меня священное животное, — услышал я над самым ухом.

Это был тот же незнакомец. Он уселся рядом и тоже заказал себе еду. Я не любил этой манеры, не представившись и не выполнив полагающихся форм вежливости, заводить разговор с первым встречным, как с приятелем, но он, не замечая моего недовольства, продолжал как ни в чем не бывало:

— Мне было тогда не больше шести лет. Дело было в деревне. Я целыми днями носился с игрушечной саблей, рубил крапиву, колол направо и налево и с каждого прохожего готов был содрать скальп. И вот, какая-то баба приносит котенка: — не утопишь ли? Я ответил, что индейцы никого не топят, только убивают. — Ну, убей. — Убедившись, что мне, в самом деле предстоит совершить убийство, я испытал такую же дрожь и нетерпение, как четырнадцатилетний подросток на первом тайном свидании с женщиной. Отправившись в поле и неся в одной руке котенка, а в другой палку, я был от счастья, как в тумане. Но выбрав место казни и опустив жертву на землю, почувствовал себя в положении кучера, у которого лошадь не двигается с места, сколько ее ни бей. Как начать? Котеночек, пошатываясь на крошечных лапках, был, по-видимому, бесконечно рад траве, жучкам, Божьим коровкам. Потом поднял мордочку и посмотрел на меня синими, как искорки, глазами. Тут я выронил палку и бросился бежать.

— И что же дальше? — вырвалось вдруг у меня.

— А дальше, стыд и сознание собственного ничтожества заставили остановиться, не добрав еще до деревни. Как так? Не пристукнуть жалкого котенка?.. Набравшись опять воинственного пыла, я поворотил назад. Котенок охотился за бабочками и не умея еще ходить, пытался прыгать по-тигриному. Хотя я снова взял палку, но окончательно понял, что ударить не в силах. Я был в отчаянии. Сам не знаю, как мне пришла мысль закрыть глаза и бросить палку наугад. Так и сделал. Взглянувши увидел, как котенок с чуть слышным стоном катался клубком по земле. Кровь из носа... Это был мой первый ужас в жизни. Прибежав без памяти домой и боясь попасться кому-нибудь на глаза, я забился сначала в хлев, потом на сеновал. И вот мне, как всякому убийце, захотелось посмотреть на свою жертву. Украдкой пробрался к месту преступления и не нашел ничего, кроме палки. Где же котенок? Иду опять в деревню и вижу возле гумна: — плетется бедный, а кровь на носике запеклась и почернела. Жив! Жив! Тут я почувствовал такое спадение вериг, какого ни один святой угодник не испытывал...

Я взглянул на рассказчика и подивился жесткости его лица, так мало подходящего к тому о чем он говорил.

Подали сэндвичи. Поевши и выпивши кофе, он совсем другим тоном спросил:

— Вы, кажется, знакомы с Еленой Густавовной Ольховской и живете неподалеку от нее?

Я раскрыл рот.

— Откуда вы знаете? . .

— Знаю, — усмехнулся он. — Так вот, если будете, передайте поклон от Прутова. Скажите, что приезжал не надолго, зайти не мог, но когда-нибудь навещу непременно.

Он повернулся на своем стуле и вышел не попрощавшись.

*
*
*

На другой день я был у Ольховских и видел Елену Густавовну. Я всё еще продолжал считать вчерашнего рассказчика болтуном и приставадой, но страшно хотелось знать, каким образом знаком он с нашей величественной Еленой Густавовной. Пока я разговаривал с ее сыном, она патриархально сидела в кресле и вязала.

— Вам, Елена Густавовна, Прутов кланялся.

Она не выронила работы из рук и не вздрогнула, но я видел, как ее точно обухом хватили по голове. Пальцы стали делать бессмысленные движения, ничего общего с вязанием не имевшие. Прошла длинная минута, прежде чем она смогла вымолвить:

— Да? Где вы его встретили?

— Здесь, в Квинсе. Он жалел, что не мог быть у вас, потому что приехал на один только день.

Она ничего больше не спросила, но щеки ее провалились и видно было, как челюсть ходуном ходит под плотно сжатыми губами.

— Ты нездорова, мама? — спросил сын.

— Да. Отведи-ка меня на диван.

**
*

С тех пор не проходило дня, чтобы я не думал о незнакомце.

Через месяц снова услышал его голос, совсем рядом, когда сидел в кафе.

— Ну, вот, довелось еще раз свидеться!

— Ах это вы? Послушайте! — обратился я к нему без всяких предисловий. — Что у вас такое с Еленой Густавовной? Ваше имя бросает ее в дрожь.

— Вот как? .. И тяжело это у нее? ..

— Первый раз, три дня ходила сама не своя. Потом, когда недели через две я снова заговорил про вас, закричала не своим голосом: «Что он подсылает вас ко мне, что ли? .. Чего вам от меня надо? ..»

Он достал платок, вытер лоб и растерянно уставился на букет искусственных цветов, украшавших стол.

— Бедная!

— Ей, должно быть, есть чем помянуть вас, — попробовал я усмехнуться.

— К сожалению, да. И, конечно, не добром, хотя добра я ей сделал не меньше, чем зла.

— А зло было?

— Да еще какое!

Он отхлебнул кофе, помолчал и вдруг повернулся ко мне.

— Ведь я ее бил.

— Елену Густавовну?!

— Да. Никогда не забуду, как привели ее ко мне на первый допрос. Брезгливые губы, надменный подбо-

родок... Увидела меня — усмехнулась. Так вот здесь кто?! А я ей хлясь по физиономии, да в другой раз. Сначала она просто онемела и стояла ничего не соображая. Ее, урожденную баронессу Визиген, жену полковника Ольховского, трижды георгиевского кавалера, бьют!.. Да не как-нибудь, а наотмашь, поганю, как пьяную бабу.

Я ошалело уставился на собеседника: 

— Как она не умерла и не сошла с ума в ту минуту — не знаю. Только ясно было, что гордость ее не сломлена и оттого я еще в большую ярость пришел — топал ногами, обзывал, как только мог. Отпустил, когда увидел, что ничего больше не соображает. Велел отправить в одиночку и следить, чтобы не повесилась.

— Позвольте, позвольте!.. Это так ошеломляюще!.. Когда же это могло быть?

— Вы еще пешком под стол ходили... В восемнадцатом году. Осенью. В Петрограде.

У меня немного отлегло. Я таких видел, С полдюжины жен Тухачевского, десяток собутыльников Есенина; встретился даже приятель Канегиссера, у которого на квартире тот заряжал револьвер, перед тем, как идти убивать Урицкого.

— Вы, верно, были очень важным лицом?

Он дал понять, что видит мою насмешку.

— Важным — не важным, а кое-каким был. По крайней мере, настолько важным, чтобы свести с небес такую богиню, как Елена Густавовна. Впрочем, тогда это было совсем не трудно. Да и богиней она была не по чину. Всего только полковница, а нос задирала по-

генеральски. Есть такие люди. Ненавидел я ее! . . . Спал и во сне ненавидел. Знакомы мы еще до революции. На Гулярной улице жили. Мы с матерью внизу, а она над нами, чуть не весь этаж занимала. Квартира в коврах, в пальмах, канарейки летали по комнатам. Из всех жильцов дома, одного только профессора Редьковского, да генеральшу Звягину удостаивала вниманием, остальным едва кивала головой, а с матерью моей и со мной не здоровалась, даже после февральского переворота, когда у таких господ спеси поубавилось. Помню, как-то раз, летом семнадцатого года, пришел я к ней по домовому делу, так она меня, как кухаркина сына, минут десять заставила простоять в прихожей. Вышла в розовом капоте. «Что вам? . . .» А мне тогда уже девятнадцать лет было и я реальное училище окончил. Припомнил я ей этот прием! Иногда кажется, что и в чекисты-то пошел из-за нее. Во всяком случае, арестовал ее чуть не на другой же день после своего поступления туда.

Волнение снова начало меня одолевать. Я вспомнил поведение Елены Густавовны.

— И часто вы ее били?

— Бил. На второй допрос вошла неузнаваемая. Но взгляд всё еще полковничий и всё еще крупными буквами в нем: «Хам!» Ладно, думаю, покажу я тебе хамма. Как, говорю, любезная дамочка, нравится вам у нас? А она мне: «Хам!» Ах так! Раз я ей пощечину, а она опять: «Хам!» Я ей снова пощечину, она снова — «Хам!» И так мы изъяснялись раз до десяти, примерно. Смотрю, она еле языком ворочает, а всё хам, да хам! При-

шлось на этом кончить. На третьем допросе я ее за волосы таскал, носом в стол тыкал и чего только не делал. Молчала, как пустыня. Только, когда ласково поднес кулак к зубам и мало не весь. в рот ей втиснул — оттолкнула и голосом, который до сих пор помню, проговорила: «Изверг, да ведь я женщина!» Ага, думаю, пронял я вас, мадамочка!..

— Позвольте, — перебил я, — что-то не слышно было, чтобы в восемнадцатом году били и истязали. Расстреливали — да, но разве пыткам подвергали?

Он насмешливо посмотрел.

— А вы, я вижу, зря попали в эмиграцию. Если в советах ничего кроме «Правды» и «Известий» не читали — это понятно. Здесь же, за границей, не потрудиться узнать что такое ЧЕКА — это прямо против чести мундира. В том-то и дело что били, да как били! А не слышно было оттого, что никто из битых не вышел от нас. Да и били, конечно, не всех. Секретно и по особо важным делам.

— Какое же особо важное дело могло быть у этой женщины?

— Да совсем никакого. Тем и блаженно то время, что даже мне, сморчку, можно было создавать «особо важные дела». Я был клад для них. Ведь потомственные разувай-пролетарии бежали с этой работы, как с каторги, влетали в истерику в Бокино, падали на диван и голосили: «Отпусти, Глеб Иванович! Не могу!..» Дольше двух недель мало кто выдерживал. Уходили на фронт, в продовольственные отряды, куда попало, но в Чека не оставались. Кадры подбирались медленно.

Только году к двадцать первому появились настоящие люди. А в восемнадцатом такие беспощадники, как я, насчитывались единицами. Меня ценили еще потому, что считали садистом, хотя без всякого основания. Все дела, требовавшие вытягивания по одной жилке, направлялись ко мне. Потому-то и не было баловства, которого бы не позволили нам, любимым сыночкам.

— Неужели для таких случаев не существовало уголовных преступников?

— Были, но их дальше самой черной работы не пускали. Народ не серьезный. Да и культуры никакой, а я как-никак реальное училище окончил.

— Но, всё-таки, арестовывая Елену Густавовну, вы хоть какую-нибудь вину могли ей предъявить?

— В протоколе что угодно можно написать, а виновата она была единственно передо мной. То был классовый суд. Только в определении классов я сильно расходился с Марксом. Никаких производительных сил и производственных отношений... Учителем моим был Лермонтов.

— Лермонтов?!

— Сразу видно, что вы его плохо читали. А у него замечательные мысли: «Честолюбие — не что иное, как жажда власти». Как вам это?.. Против жажды власти я и восстал. Честолюбцы составляли класс моих заклятых врагов. В каждом добивавшемся почестей, я видел гадину, которую надо раздавить. Всё это были посягатели на мою свободу. Питал я лютую ненависть к классу счастливых. К нему принадлежала Елена Густавовна. У того же Лермонтова сказано, что счастье —

это насыщенная гордость. А кто способен сносить гордость ближнего? Даже счастье любви — дерзость. Сколько раз приходилось видеть лица, горящие «нездешним огнем» после первого поцелуя. Ах ты, стерва, — думал я, — как ты смеешь возноситься передо мной в своем поганеньком счастьеце!.. Не потерплю!.. Вызываю!.. И сколько их, счастливцев, загнал я на тот свет!

Хлебнув кофе, он посмотрел на меня и снова усмехнулся.

— Вижу, ни одному моему слову не верите, думаете, просто, старый дурак пристал.

— Признаюсь, хоть ваш рассказ сильно волнует, многое в нем непонятно. Вот, хоть бы, зависть к чужому счастью. Разве не проще было самому стремиться к счастью. В молодости это так естественно.

— Такая философия не для меня. Есть потливые люди и никакая медицина не в силах их излечить; вечно у них кожа влажная. У других из носа течет или пахнет изо рта. Одного этого достаточно, чтобы не быть счастливым. А я создан сплошь из отбросов. С детства слабосилен, любой из сверстников одерживал надо мной верх в драке. На работе не мог угнаться за другими. Дыхательные пути неправильно устроены, какие-то неполадки в пищевом тракте. А вдобавок, лицом невзрачен — прыщеват, угреват. Так где уж там... счастливым.

— Неужели из-за этого?

Он посмотрел так злобно, что я разом поверил в его чекистское прошлое.

— А вам этого мало? Из-за этого и революция произошла. Вы, вот, рисуете меня сейчас на манер старинных романов: «мстил, мол, обществу», а я не мстил и не до мести было. Я просто боролся. Все любят повторять, что наша жизнь — борьба; но для вас это оперная ария, а для меня — Евангелие, откровение. Я замирал от ужаса при мысли, что тогдашние правила борьбы обрекали меня. Во французской борьбе, вы знаете, класть противника на лопатки можно только суплесом, нельсоном, тур де бра или чем-нибудь в этом роде, но не разрешается ни пальцем в глаз ткнуть, ни под ложечку садануть. И вот, мимо меня, звеня шпорами, сверкая золотыми пуговицами, окольшами фуражек, шли и проносились в каретах победители. Приходилось сторониться, жаться к стенке. Ни на победу, ни на самозащиту не было шансов. И вдруг всё переменялось. Появилась возможность бить носком под низ живота, кусаться и выдирать глаза. За это и будут чтить до смерти великую социалистическую. Я ее первый оценил и чуть молебен не отслужил за Ленина и Троцкого. Но это уж поэзия... Важно, что я сразу пошел в Чека.

Он выпрямился на стуле, застегнул пиджак на все пуговицы и отрапортовал:

— Да-с! Перед вами редчайший экземпляр чекиста первого призыва.

— И вы так откровенно об этом говорите? Вы не боитесь?

— Чего?

— Ну, того . . . что я, например, мог бы сообщить куда следует.

Он сначала застыл от изумления, потом расхохотался так, что обратил на нас внимание всего кафе.

— Это бесподобно! . . . Вот уж подлинно, каким был дитём малым, таким и остался. Сообщить куда следует! . . . Да вы не знаете куда и сообщать-то. Из вас простого стукача не выйдет, а вы туда же — доносить на чекиста . . . Ох, Господи! — вздохнул он со смехом. — И неужели вы, пройдя советские и немецкие лагеря, оцупанные до последнего ребрышка коллаборантами, репатриантами, унровцами, не понимаете до сих пор, что как при Берии, как при Гиммлере, так и здесь, ходите под нами, чекистами? Мы же ваши вечные спутники. Вы вот гордитесь, что в вас оценили первоклассного инженера, что вы — самый ходкий товар в Америке. Ошибаетесь. Никто не ценится выше нас. У старых эмигрантов — никакой школы; кроме вульгарных доносчиков и предателей из них ничего не выходит. А от нас еще немцы пришли в восторг. Такой выучки нигде нет. Да, дражайший Василий Сергеевич, мы здесь в неменьшем почете, чем там, и управляем вашей судьбой, как упряляли в Германии и в советах. Мы ваши пастыри, вы — наше стадо.

— Откуда вы знаете мое имя?

— Да я не одно только имя знаю.

Он стал пугать меня всерьез. Проснулся былой советский ужас перед всеведущим НКВД и сознание своей микробности. Кто находился когда-нибудь под лупой тот знает что это такое. Как бы поняв мое волне-

ние, он снова повернул разговор на Елену Густавовну.

— Вы, конечно, хотите знать, чем у нас кончилось. А кончилось тем, что я не только выпустил ее на свободу, но и довез в собственной машине до Новой Деревни, где ей пришлось поселиться. Квартира-то с канарейками на Гулярной улице была отобрана и заселена рабочими фабрики Кирхнер. Муж ее, полковник, сидел в это время в Петропавловской крепости и ждал расстрела за участие в офицерском заговоре. Каких трудов мне стоило вызволить его оттуда, сначала в Кресты, а потом на волю! Елена Густавовна в обморок упала, когда он явился к ней. Не ждала. Я их и спрашиваю: можете бежать куда-нибудь, лучше всего за границу? Да куда же, говорят, у нас ни денег, ни знакомых, да и маскироваться не умеем, сразу опознают и арестуют, как только выйдем за ворота. Что делать? Пришлось устраивать им побег — стряпать документы и всё такое. Не легко это было. Хоть виделся я с ними не часто, но раза два-три пришлось удостоить личным посещением. Полковник смотрел на меня, как на чудо и громко благодарил Бога, что не дал ему извериться в русском человеке. Кто бы мог подумать, твердил он, что простой случай соседства пробудил в человеке такие благородные чувства! Но Елена Густавовна при моих посещениях бледнела и слова не могла вымолвить. Сделал я им, наконец, всё для побега в Финляндию, простился, просил не поминать лихом и, вдруг, накануне отъезда узнаю — сын их, гимназист, арестован. Это тот самый Вадим Андреич, которого вы знаете. В то время ему было лет пятнадцать-шестнадцать. Тут у

меня руки опустились. Приезжаю: сидят, как убитые. Не сегодня-завтра, говорю, вас посадят, вам надо убраться. Поезжайте одни, а сына я постараюсь освободить и переслать к вам; это будет легче, чем вас самих выпроводить. Плачут, благодарят за всё мое доброе, только ехать без сына отказываются. Пусть, говорят, погибнем все вместе. И вот, поверите ли, этого мальчишку выцарапать стоило невероятных усилий. Но всё, наконец, улажено, документы заново переписаны, пограничная стража в Белоострове обработана. Проводил их до Сестрорецка. Полковник плакал прощаясь. Когда же подошел я к Елене Густавовне, чтобы поцеловать ручку в последний раз, лицо у нее свело судорогой, она закричала и упала на вагонную скамейку.



Теперь я не сомневался в истинности слов страшного собеседника и начал вглядываться в его лицо. Так всегда бывает: пока человека считаешь ничтожеством, не замечаешь какой у него нос, но чуть окажется, что он знаменитость или миллионер — все бородавки рассмотришь. Лицо без линий, без ясных очертаний, как измятая глина скульптур Паоло Трубецкого. Постоянная игра света и тени делала его неуловимым. Ни возраста, ни характера, ни национального типа нельзя было прочесть.

Поборов волнение, я проговорил:

— Если уж вы так много рассказали мне о Елене Густавовне, то не договорите ли до конца, не скажете ли, что за причина такой вашей перемены к ней?

— Причина? На последнем допросе я разрыдался, упал к ее ногам и сделалась она мне дорожке матери родной. Не подумайте, что влюбился или раскаяние какое-нибудь. Многих подводил под расстрел, но угрызений не испытывал и не испытываю. Тому же, что тогда произошло не нахожу названия. Мучил я ее зверски. Не только избивал, но сказал, что муж в Гатчине схвачен и даже намекнул, что с сыном будет то же. Я видел как она мертвела от ужаса, но молчала. А мне было мало. Я, знаете, максималист... Плеснул я ей из недопитого стакана чаем в лицо. Помню, как сейчас, черные чайники прилипшие к щеке и к подбородку. И тут она, что называется, проснулась. Закрыла лицо руками и в голос заплакала. Но как!.. Я слышал профессиональных плакальщиц, они могли заставить рыдать толпу, идущую за гробом. Плач этой женщины переворачивал нутро. Есть вопли и стоны от которых нет спасения. Они слаще музыки. До самых костей должно прийти чужое горе. Тут-то я и бросился целовать ее одежду.

Кофе наше остыло, ни он, ни я не притрагивались к нему больше. Я первый очнулся.

— Это прямо из Достоевского. Такой исповеди...

— Исповеди?! — Прутов, вдруг, побагровел. — Книжный вы человек. Привыкли к здешней литературе. «Исповедь»!.. «Обнажение души»!.. Вам

факты рассказывают, а вы всякие там «бездны» . . . Никогда не исповедывался и ни в чем не раскаивался.

— Чем же объяснить это целование одежды?

— Чем хотите. Жалостью . . . Только не жалость это.

— И вы не бросили с тех пор свою . . . профессию?

— Напротив, предался ей с особым жаром. Мучить до крика, до последней боли, стало высшим наслаждением. Может быть это означало желание полюбить . . . Только не все оказывались достойными. Был один; прошел через всё не охнув, не вскрикнув, как на картинах, где изображают святого Себастьяна: грудь, шея, живот, бедра проколоты насквозь стрелами, а он хоть бы что, глазом не моргнет. Я таких не любил. Беспощаден я был и к тем, которые хоть и много принимали мучений, но страдали банально . . . Души в них не было. Мне нужен был не простой крик боли, а что-то другое . . . Тоску расставания с жизнью! Арию Каварадосси! . . .

— И падали вы еще перед кем-нибудь на колени?

— Бывало . . . Капитан первого ранга Скворцов. Вот был моряк! . . . Я им долго любовался. Острая седая бородка клином, как кинжал. Взгляд! . . . Всё в нем было орлиное. Для его избиения пришлось вызвать бригаду из трех человек. И даже эти, не то что оробели, а как-то замялись вначале. Когда хлынула кровь изо рта и он увидел, что скоро конец, он, как ни в чем не бывало, обратился ко мне: «Могу я просить об одолжении? . . . Среди отобранных у меня при аресте вещей, был мой орден Святого Георгия. Не позволите ли взглянуть хоть раз». Я не был «демократом» и дурацкого преследо-

вания чинов и наград не понимал. Согласился показать ему на следующем допросе «Георгия». Он уже не мог ходить. Привели под руки. Когда я дал знак своим молодцам уйти, он поднял вопрошающе глаза. Я молча открыл ящик стола, достал коробочку с георгиевским крестом и торжественно вынул его, держа пальцами за черно-желтую ленточку. Как вам передать его лицо? Я думаю, оно было таким, когда он произносил слова присяги перед Андреевским флагом или, когда на судне бывал царский смотр. Он встал и вытянулся, как на параде. Потом ноги подкосились, он упал и мне стоило немало усилий посадить его на стул. Хотел я уже крикнуть людей, чтобы унесли, как вдруг он открыл глаза и протянул мне руку: «Прощайте! Прощайте! . . .» Тут во мне дрогнуло, как при плаче Елены Густавовны. Я бросился целовать эту руку, лепетал что-то, весь в слезах, и совсем не заметил, как капитан похолодел в моих объятиях. По сей день люблю Александра Васильевича Скворцова, доблестного моряка Балтийского флота.

Посидев немного и тряхнув головой, усмеялся.

— Вы, я вижу, ни живы ни мертвы. Всё еще не можете поверить, что с вами сидит в кафе злодей — чекист и рассказывает такие вещи.

— А вы кому-нибудь другому рассказывали?

— Нет, вам первому.

Взглянув на меня, он совсем громко рассмеялся.

— Сразил! Окончательно сразил! Теперь ночей не будете спать, всё думать, почему именно вас избрал своим слушателем?

В тот день я снова был у Ольховских и не успев еще поздороваться заметил, что мать и сын взволнованы.

— Не говорите пожалуйста маме ничего об этом... Прутове, — шепнул мне сын.

— Он приходил к вам?

— Да. И представьте — на колени становился... Это сумасшедший! Мама в полном расстройстве.

Елена Густавовна, в самом деле, едва поздоровавшись, ушла в другую комнату. От Вадима Андреевича я узнал, что сам он о Прутове знает мало, видел несколько раз в Германии, когда тот бывал у них. Там он снова оказал им большую услугу, спас всё семейство. Советы, как только пришли, начали охотиться за Ольховскими и они бы неминуемо погибли, если бы не Прутов.

— Ведь отец мой служил в Остминистериуме и занимал видный пост, а я... вы тоже знаете.

Я поразился энергии и самоотверженности человека, который сам подлежал выдаче, как я мог заключить из его болтовни.

— Как же! — подтвердил Вадим. — Его ловили старательнее чем нас. Только не на того напали. Он всё предвидел, а связей и знакомств среди немцев у него оказалось — побольше нашего.

Он не только сумел вывезти Ольховских из Берлина, но и потом, разлучившись с ними не оставлял своей помощью во время блужданий по советской зоне

оккупации — то записочку пришлет, то через каких-нибудь людей важное указание сделает. Когда подошли к границе американской зоны, от него получена была пачка документов, сфабрикованных так искусно, что советские патрули пропустили, а американцы приняли всех троих без особых расспросов.

— Это гениальный человек! — воскликнул Вадим.

— А в России вы его знали?

— Смутно помню кого-то в полушубке, устраивавшего наш побег из Петрограда. В Германии я его, конечно, не узнал, но мама и отец хорошо помнили. Отец благоговел перед ним и говорил: «Вот русская душа! Ты подумай только, кто мы ему? Только и было, что в одном доме жили на Гулярной улице. Де ведь мы его и взглядом не удостаивали. А на поверку? . . . Просто чудо! Нигде кроме России такие не встречаются».

— Ну а Елена Густавовна?

— Мама тоже считала его необыкновенным человеком, отзывалась с благодарностью, но сухо и, после каждого разговора выходила из строя дня на два. Почти больной становилась. Петроградский арест так на нее подействовал, что мы взяли за правило не говорить о нем. Отец перед смертью завещал мне каждый год в день святых мучеников Бориса и Глеба ставить свечку в церкви. Прутова, ведь, Борисом Алексеевичем зовут.

— Ну и ставите?

— Ставить-то ставлю, но судите меня, как хотите — никакого чувства . . . Это погано, конечно, с моей стороны. Человек величайшее благодеяние оказал, по гроб

благодарным надо быть, а нет у меня этой благодарности, хоть убей.

**
*

Прутов верно сказал: вопрос, почему я оказался предметом его внимания и поверенным его тайн — занимал меня неотвязно. Как-то раз, под вечер, раздался звонок. В полумраке перед дверью стояла мужская фигура.

— Не ждали? Ну, принимайте.

Вид чекиста, стоящего у входа в дом, даже за границей страшен, даже когда чекист сам эмигрант. Он понял и ухмыльнулся.

— На этот раз, вы не будете арестованы.

К счастью, никого из моих не было дома. Когда он молча вошел в квартиру и без приглашения расселся на диване, я поспешил зажечь лампу.

— Зачем это? В темноте лучше, — и сам погасил свет.

Меня передернуло. Уж не прав ли Ольховский и не с сумасшедшим ли я сижу? Не зная как начать разговор, я перебирал в уме все подходящие фразы, а он молчал.

— Василий Сергеевич, я пришел с вами проститься.

— Вот как, вы уезжаете?

— Да, и далеко.

— Не объясните ли, всё-таки, откуда вы меня знаете? И кто я вам, что вот, даже проститься пришли?

— Пришел потому, что своих не забываю.

— Как так?

— Я разумею тех, которые мне дороги.

— Ничего не понимаю.

— Ну, не понимаете, так не понимаете. А вы мне дороги, иначе не стал бы опекать вас целых двадцать лет.

Этот человек успел приучить меня к самым неожиданным щипкам и натягиваниям нервов, но такого оркестрового их звучания, как в тот миг, еще не было. Я почти задохся от его слов.

— Неужели и я, как Елена Густавовна? . .

— Да, и вы были у меня в лапах. Двадцать два года срок большой, можно и забыть. У меня тогда никакой еще седины не было и лицо моложе . . .

— Да где же это было?

— Помните Ярцево?

Ярцево буду помнить до самой смерти. Оставалось всего десять верст до села, где жила моя мать. Я шел к ней из немецкого плена. И тут меня схватили. Ни на Колыме, ни в Дахау не переживал я того, что в Ярцеве. Кругом кишели партизаны, и немцы беспощадны были ко всем, ходившим по дорогам без пропусков. Когда привели в ортс-комендатуру и допросили, мне ясно стало, что завтра же буду отведен в ближайший овраг, где приканчивали партизан.

— Ведь это я вас тогда арестовал. Моя карьера у немцев началась со службы в ярцевской комендатуре и я, конечно, не упустил случая отличиться. Немцам бы и невдомек, что вы не мужик из соседней деревни,

а я-то сразу распознал в вас переодетого беглеца и мигнул унтер-офицеру, чтобы аусвейс потребовал.

— Но я вас не помню.

— Наружность у меня серенькая, никто не запоминает. Да и действие-то длилось полтора дня. Вам бы тогда не сдобровать, если бы мать не спасла. Помните, как она в тот же день приплелась, услышав, что вас забрали и держат в комендатуре? Думаете я слезами ее тронулся? Нет, не таковский. Скорей зверь оберлейтенант поддался бы на это, чем я — заслуженный чекист. Тронулся не этим. Меня, конечно, зря считали садистом, мною руководило любопытство... Мне захотелось посмотреть на ваше лицо, когда вы увидите свою мать. Помните, как я вас, точно невзначай, завел в ту комнату из окна которой вы могли видеть старушку, стоявшую на улице? В этот миг вы и были спасены. Вы не заплакали. Терпеть не могу мужского плача... Но вы посмотрели на мать глазами... Понимаете, что я хочу сказать? Никогда мне не доводилось видеть таких глаз, такого прощального навеки взгляда. Дал себе клятву умереть, но спасти вас. А ведь оберлейтенант считал потерянным каждый день в который не расстреливал русского. Ну да что об этом!.. Важно, что у меня одним любимым стало больше. Я ведь и сюда в Америку помог вам выехать и на работу устроил и сына вашего в колледж определил. Я своих не забываю... Вот и есть мне теперь с кем проститься по-человечески.

Тут он встал и зажег лампу.

— Простите и позвольте обнять. Дуньте на умирающего, как говорил Базаров.

— Что вы задумали?

— А вот, когда простимся, скажу.

Чуть живой, я протянул ему руку, мы обнялись крест-накрест и он трижды поцеловал меня в обе щеки. Потом, приподняв борт пиджака, показал рубашку и сказал, что белье под ней такое же чистое. Признался, что даже баню русскую отыскал в Нью-Йорке и вымылся. Когда он уже стоял на пороге, я опять спросил, куда же он едет и что собирается делать?

— Еду в свое прежнее ведомство. «Туда» . .

— Да ведь это безумие! Вам нельзя!

— Теперь я хочу полюбить самого себя . . .



МИСТЕР ГАН

Отец Георгий Звенич только что вернулся с тайного эмигрантского собрания и отдыхал в своей простенькой, тесной квартирке.

Было тихо. Мерно капала вода в умывальнике. Ухо уловило какие-то скребущие звуки возле входной двери. Сначала они ничем не отличались от многочисленных шорохов большого жилого дома, но через некоторое время явственно долетел лязг металла. Выйдя в переднюю, Звенич увидел, что дверь отперта, держится на цепочке, которую усердно перегрызает какой-то инструмент просунутый снаружи. Не успел он что-либо сообразить, как цепочка распалась надвое и в дверях появился неизвестный человек.

Убийца.

Он это понял в один миг. И тот, что вошел, знал, что он понял. Спокойно захлопнул дверь и медленно приблизился, держа руки в карманах.

Вся мысль священника ушла в решение вопроса: чем он ударит — ножом или клещами, которыми пере-

кусывал цепочку? Если ножом, то в грудь или в горло? При мысли об ослабленной ране под подбородком, у него онемели руки и ноги.

Постояв секунду, незнакомец повернул его за плечи и толкнул.

— Ну пошел!

Ближайшая дверь вела в кухню. Увидев плиту, раковину, кастрюли, гангстер скроил гримасу, как актер недовольный декорациями, среди которых предстояло играть. Он уже хотел перенести действие в другую комнату, когда открыв фриджидер заинтересовался его содержимым. Прямо перед ним стояла подернутая инеем, точно снятая с рекламы, бутылка водки.

Есть вещи разящие в упор: голая женщина, пачка денег, штоф хорошей водки.

Он вынул ее и поставил на стол.

— Стопки!

Священник достал стопку из стеклянного шкафа.

— Я сказал стопки!

Достал другую.

Незнакомец наполнил обе артистически — снашиба, мощной струей, не пролив ни капли и ровно до краев. Одну он подвинул в сторону хозяина, другую немедленно опрокинул себе в рот и полез во фриджидер за ветчиной.

— Почему не пьете? Пить! . . Я не люблю один . . .

Священник выпил.

— Еще!

Лицо у него порочное, из-под шляпы грязно-седые волосы, но в движениях молодость и звериная сила.

— Что вы со мной сделаете?

— Не будьте ребенком. Неужели не понимаете за-чем я пришел? — потом насмешливо: — Бойтесь?.. Бояться не надо. Я работаю чисто. Тридцатилетний опыт.

Водка сделала его словоохотливым. Он наливал стопку за стопкой, не приглашая больше хозяина к со-участию.

— Я бы охотно пристрелил вас. Револьвер самый приятный инструмент в нашем деле, но не моя вина, что вы живете в апартментхаузе. Слышно.

Страх сковал священника до того, что ни презрение его слов, ни стыд перед своим офицерским прошлым не вернули самообладания. Выпитые две стопки повергли его в состояние анабиоза. Только мысль билась, как пульс, с необыкновенной ясностью.

Когда гангстер стал ворчать по поводу плохой за-куски и упрекнул его в бедности, он ухватился за эту тему.

— Вы видите, у меня ничего нет... Вы верно ошиб-лись...

— Ошибся? Нет. Вы ведь фазер Звенич? — фазер Звенич.

Риверсайд Драйв? — Риверсайд Драйв.

Пятьсот тридцать шесть? — Пятьсот тридцать шесть...

Никакой ошибки.

— Но у меня нечего взять.

— Ничего и не собираюсь брать. Я не грабитель. Я уже получил аванс за вашу голову и завтра получу остальное.

— Кому нужна моя голова?

— Это меня не касается. Политикой, верно, занимаетесь, вот и понадобилась. Однако, хватит! Мне здесь надоело. Есть у вас более приличная комната?

Священник понял, что через две-три минуты будет лежать в луже собственной крови. Он примерз к полу. Понадобилось толкнуть его в загривок и скомандовать «марш!», чтобы он получил способность передвигать ноги. Но толчок возвратил его к жизни. Он ужаснулся своей безропотности. Неужели это его, капитана Звенича, ведут на казнь — незаконную, преступную? Ведет злодей, сам предназначенный для электрического стула! В нем пробудился боевой офицер.

В комнате, куда они переходили, висела на стене его сабля, а на столе стояла бронзовая статуэтка — тоже неплохое оружие.

План самозащиты родился в одно мгновение, как вспышка магния: при первом же движении врага, бросить ему стул под ноги, вскочить на диван и выхватить саблю из ножен. Телячья покорность с которой он шел, казалась благоприятной его замыслу; она явно ослабляла внутреннюю напряженность гангстера.

У того было два любимых приема, которые он чаще всего пускал в ход: повернуться спиной к жертве и потом, в быстром развороте, ударить со всей силы ножом

наотмаш или, уронив какую-нибудь вещицу, нагунт-ся и разгибаясь всадить нож под ребра. Сегодня он склонялся в пользу последнего маневра и уже достал пачку сигарет из кармана, как вдруг отпрянул к столу.

Плед на диване, позади Звенича, зашевелился.

Глаза гангстера, как значки арифмометра, сделали тысячу движений в секунду.

Из-под пледа показалась голова маленького щенка и сладко зевнула.

— Ах ты, чучело!

Проковыляв по дивану к зеленой подушке, лежавшей на самом конце, щенок перешел с нее на стол. Мутно-водяные глаза с любопытством следили за напугавшим их крошечным зверем. Он шел к тому месту, где волосатая лапа опиралась на стол. Приблизившись, грозно, на самой высокой скрипичной ноте, твякнул на нью-йоркское чудовище.

— Ха-ха-ха! — пробасило чудовище. Оно протянуло палец в знак благоволения и милостиво позволило обнюхать и покусать его беззубыми челюстями.

Потом, спохватившись рявкнуло:

— Ну хватит! — и так швырнуло щенка на пол, что тот, взвизгнув, забился в конвульсиях. Лапки то судорожно подергивались и затихали, то снова начинали ловить жизнь, чтобы как-нибудь зацепиться за нее.

Видевший столько раз, как умирают зарезанные им люди, убийца впервые наблюдал агонию маленького животного. Когда оно, перевернувшись на живот, вы-

тянуло передние лапки и положило на них мордочку, с нее скатилась сиротливая слезинка. Тогда, та же рука, что бросила его, подняла и положила на стол.

— Есть у вас молоко?

— Есть, — ответил священник.

— Несите сюда.

Когда блюдце с молоком стояло на столе, гангстер ткнул в него крошечную мордочку с еще закрытыми глазами. Молоко каплями стекло с нее в блюдце. Он ткнул ее снова и делал так до тех пор, пока розовый язычок не показался и не слизнул молоко с губ.

— А! — гаркнул убийца, довольный опытом. Он с торжеством посмотрел на священника и вдруг выпалил по-русски: — Ха-ха-ха! Батью-ш-ка! . .

Щенок слизнул еще несколько капель и жалобно заскулил.

— Жив? — спросил гангстер.

— Жив.

— Не умрет?

— Даст Бог, не умрет.

— Добрый вечер, дженльмены!

Двое полицейских с пистолетами стояли в дверях.

— Вы звали на помощь? Вам грозит опасность?

Звенич видел, как позеленел убийца и как пот выступил у него на лбу.

— Нет, сэр, мне никакой опасности не грозит.

— Но вы вызывали полицию по телефону.

— Нет, сэр, у меня нет телефона. Это кто-нибудь другой.

— Гм! . . . Почему у вас дверная цепочка перерезана?

— Этого я не заметил.

— А кто этот джентльмен?

— Это . . . Мистер Ган . . . Он пришел навестить меня.

Полицейские смотрели с недоверием.

— Так вы правду говорите, что вам никакой опасности не грозит?

— Правду, сэр.

— В таком случае, простите. Спокойной ночи.

Они ушли и слышно было, как хлопнула дверь квартиры.



СОДЕРЖАНИЕ

Солнце	5
Мантуанская ночь	44
Сеньор Торо	55
Последний	64
Первого призыва	77
Мистер Ган	100